

№

1

Русская речь

НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ
ИНСТИТУТА
РУССКОГО
ЯЗЫКА
АКАДЕМИИ
НАУК
СССР

ОСНОВАН В 1967 ГОДУ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

1968

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ МОСКВА

В номере

ВЫДАЮЩИЕСЯ СОВЕТСКИЕ ЛИНГВИСТЫ

Е. М. Иссерлин. Борис Александрович Ларин	5
Б. А. Ларин. Заметки о поэтическом языке Некрасова	8

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Корней Чуковский. Поэт прилагательных	17
Л. И. Скворцов. В жанре дамской повести	26
Ю. Д. Левин. «Язык родных осин»	36

КУЛЬТУРА РЕЧИ

А. А. Ушаков. Язык советского закона	40
П. В. Кожевников. Заметки редактора научной медицинской литературы	44
А. И. Моисеев. Вы и Ваша профессия	49
И. Л. Николаев. Русский и таджикский	53
Н. А. Каргин. Поэзия и развитие речи	54

ГРАММАТИКА, СТИЛИСТИКА

И. Н. Кручинина. Синтаксис разговорной речи	56
Г. А. Качевская. Собирательные числительные	61
В. М. Панфилов. Деепричастные обороты в безличных конструкциях	67

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

А. А. Абдуллаев. Москвич — москвичи	70
А. И. Попов. Арзамас	75
К. С. Горбачевич. Васильевский остров	78
А. С. Львов. Заметки о словах	80
В. В. Виноградов. О серии выражений муху зашибить, муху за- давить и под.	83

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

И. С. Улуханов. Славянизмы в русском языке	93
--	----

ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. В. Попова. Диалектологические заметки Н. А. Добролюбова . . .	100
М. П. Тоболова. А. А. Барсов и его рукописная «Российская грам- матика»	101
Почта «Русской речи»	104

*При перепечатке
ссылка на журнал
«Русская речь» обязательна*

К читателю

Не любить родную речь нельзя,
знать и чувствовать ее необходимо,—
такими словами мы открыли первый номер журнала в прошлом году. Идея широкого распространения лингвистических знаний нашла живой отклик в самых различных слоях нашего общества. У «Русской речи» появилось много друзей, внимательных, чутких и требовательных. И это не случайно: истинная любовь к языку порождает стремление к глубокому его познанию.

В новом году журнал расскажет своим читателям о достижениях современного языкознания. В советской науке изучение языка неразрывно связано с изучением жизни народа во всех ее проявлениях. Лингвисты устанавливают и описывают внутренние закономерности развития языковой системы и выясняют внешние, социальные причины, которыми в конце концов объясняются изменения в речи и в языке. И как историю языка нельзя воссоздать без обращения к фактам истории говорящего на нем народа, так невозможно без глубокого изучения языка представить в полной мере историю национальной культуры, понять традиции, быт, литературу и искусство народа.

«Русская речь» познакомит своих читателей с текстами древней письменности, с образцами крестьянских говоров России, с разговорным языком современного города и особенностями профессиональной речи.

Журнал по-прежнему будет уделять много внимания анализу языка классической и современной художественной литературы. Язык — «первоэлемент литературы», — писал А. М. Горький; изучение эстетических функций речи помогает нам лучше понимать литературу и осознавать то значительное влияние, которое она оказывает на развитие национального языка. Писатели, художники слова принимают активнейшее участие в формировании речевого идеала современного общества.

Журнал «Русская речь» призван бороться за высокую речевую культуру народа. Научное нормирование современной устной и письменной речи исключает простое наклеивание ярлычков «правильное» — «неправильное», оно предполагает разработку сложной шкалы нормативных оценок и дает тем самым возможность говорящему и пишущему пользоваться всеми бо-

гатствами языка в соответствии с целью и обстановкой высказывания. Борьба за культуру речи всегда идет на два фронта: против тех, кто засоряет язык ненужными «новшествами», и против тех, кто решительно отвергает все новое, непривычное.

Одинаково бездумному отношению к речи «реформаторов» и «консерваторов» мы противопоставляем научный подход к языку и неустанную пропаганду лингвистических знаний.

Журнал «Русская речь» обращен ко всем любителям русского языка, ревнителям его чистоты и ценителям его неисчерпаемых богатств.

Редакционная коллегия

СТАРИННЫЙ РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Январь

Как и другие современные русские названия месяцев, *январь*, восходит к латинскому языку. Древние римляне посвящали его богу времени двуликому Янусу и называли *ianuarius*; на Русь это слово попало через византийский греческий язык, где оно сначала приобрело вид *ιανοῦάριος* или чаще *γενοῦάριος*, *γενοῦάρις*. Закономерное отражение византийских форм находим в древнерусских написаниях: енуарь, енуарь, енварий. Другое оформление этого слова передает не столько звучание, сколько написание византийского; генуарий, генуарь, генварь, геннварь, генварий.

Перед *е* согласная буква *γ* в византийском греческом языке читалась как *й*, то есть *γe-йe*. А сочетание звуков *йe* в начале слова в русском языке, как известно, передается буквой *е* (см. статью Н. А. Еськовой «Звуки и буквы». — «Русская речь», 1967, № 4), отсюда древние написания *енуарь* и т. п.

Современная форма *январь* появляется довольно поздно: картотека древнерусского словаря Института русского языка первые случаи употребления современной формы *январь* отмечает лишь в памятниках конца XVII века. До этого встречалось написание *иануарий*, которое точно соответствует греческому *ιανοῦάριος*. Близко к современной форме стоит написание *иануарь*. В. И. Даль в «Толковом словаре» дает известную в смоленских говорах форму *ягнурий*.

Первым месяцем календаря январь стал только с 1700 года, а до этого (с середины XIV века) началом года считался сентябрь. Еще раньше, в первые века русской истории, год начинался с марта и январь был одиннадцатым, предпоследним месяцем. Поэтому русская поговорка о январе «Году начало, зиме середна» безусловно могла возникнуть только в XVIII веке.

Старинным дохристианским названием января в Древней Руси было *просинец*; оно сохранилось, например, в древнейшей русской рукописной книге — «Остромировом евангелии», которая была переписана на Руси в 1056—1057 годах, а также в Четвероевангелии 1144 года: «М $\frac{1}{2}$ ь геннварь, рекомы просинец» (Месяц генварь, называемый просинец). Название *просинец* известно и сейчас некоторым западноукраинским диалектам, а также словенскому языку в Югославии — *prosinec*. Однако соответствующие чешское *prosinec* и сербскохорватское *prosinac* употребляются для обозначения последнего месяца года — декабря.

Наиболее распространенная этимология выводит *просинец* из *синь*, *про-синь*.

Продолжение на стр. 91.



ВЫДАЮЩИЕСЯ СОВЕТСКИЕ ЛИНГВИСТЫ

Борис Александрович ЛАРИН

(1893—1964)

В этом году исполняется 75 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора Бориса Александровича Ларина. Его научные интересы были разнообразны, его эрудиция глубока и обширна: он был и санскритологом, и литуанистом, и славистом широкого профиля, и русистом, много занимался общими вопросами языкознания и теорией лексикографии, диалектологией и стилистикой, был блестящим переводчиком и замечательным педагогом. Все эти научные интересы не были изолированы друг от друга, не представляли собой независимых сторон его многогранной деятельности. Напротив, каждую научную проблему он освещал на широком филологическом материале, свободно пользовался методами аналогии, сопоставления и противопоставления, приходил при анализе даже небольшого конкретного материала к важным теоретическим обобщениям.

Эти особенности творческого метода Б. А. Ларина можно проследить

на его работах по русскому языку, которому он, особенно в последние годы, уделял больше всего внимания. Изучая историю отдельных слов русского языка (историческая лексикология всегда очень занимала Б. А. Ларина), он привлекал для каждого конкретного исследования огромный материал из других языков, живых и мертвых, литературных и областных. Не уступая ни в чем по тонкости и точности фонетического и морфологического анализа лучшим работам компаративистов, он выдвинул на первое место смысловое значение слова и его обусловленность системными отношениями словарного состава языка. Никогда не ограничиваясь чисто эмпирическим описанием исследуемого материала, он стремился найти, показать те общие закономерности в развитии значений, которые свойственны целым группам слов. Таковы вскрытые им приемы перехода от синкретического значения к значениям специализированным и дифференцированным, от собирательных к

более узкоконкретным, от конкретных к абстрактным через метафорическое употребление. Именно широта привлекаемого материала из говоров и других языков, точность анализа, строгая логичность изложения делает эти обобщения убедительными и бесспорными (история слов *лютый зверь, семья, кавардак, янтарь, яр — юр — буй* и др.).

Так же плодотворны и целенаправленные работы Б. А. Ларина по исторической фразеологии, в которых показаны процессы кристаллизации идиоматических выражений. Изучение отдельных слов и выражений тесно связано с более широкими по охвату материала исследованиями Б. А. Ларина по истории русского языка. Справедливо отмечая, что разговорная речь Древней Руси совсем выпала из поля зрения историков языка, и утверждая, что «разговорная речь является более существенной основой национального языка, чем традиция книжнославянского языка», Б. А. Ларин вслед за Л. П. Якубинским и С. П. Обнорским углубляет историческое изучение этого труднодоступного и неразработанного лингвистического объекта, о котором он писал: «Как старатели намыывают щепотку редкого золотого песку из куч пустой породы, так из обильной, из века в век разрастающейся русской средневековой письменности всех почти жанров можно крупными собрать фрагментарные данные о различных (территориально и социально) разговорных диалектах и Киевской и Московской Руси».

Ценный источник для изучения русского разговорного языка XVI и XVII веков Б. А. Ларин находит в записях иностранцев — текстах, которые требуют тщательной дешифровки, тонкого анализа, обширных комментариев, подчас смелых научных

догадок. Опубликованные им «Русская грамматика Лудольфа. 1696» (Л., 1937), «Парижский словарь Московитов. 1586» (Рига, 1948) и «Русско-английский словарь — дневник Ричарда Джемса (1618—1619)» (Л., 1959) во многом обогатили наши сведения о разговорном языке XVI и XVII веков.

Однако главной задачей по истории русского языка, самой заветной идеей Б. А. Ларина было создание Исторического словаря. Еще в 30-е годы со свойственной ему энергией и увлеченностью он приступает к осуществлению этого большого и серьезного труда. Он сумел привлечь к этой работе и крупных ученых — М. Д. Приселкова, В. П. Адрианову-Перетц, Б. Д. Грекова, Д. С. Лихачева, М. К. Каргера и др., и совсем «зеленую» молодежь — своих учеников. За несколько лет была создана полтора-миллионная картотека; Б. А. Ларин разработал источники, принципы, методы и подробные инструкции («Проект древнерусского словаря», М.—Л., 1936), причем и здесь основное внимание было обращено на использование таких источников, которые позволили бы отразить не только книжную, но прежде всего деловую, профессиональную и разговорную лексику. Под руководством Б. А. Ларина был подготовлен к печати I том, в основном закончен II том. Не по его вине эта работа не была доведена до конца.

Разговорная речь интересовала Б. А. Ларина не только в историческом аспекте, но и в ее современном состоянии. Уже в 20-е годы он обращает внимание на совершенно «белое пятно» — язык жителей города. «Если бы картографически представить лингвистическую разработку, например, современной Европы, — писал Б. А. Ларин, — то самыми поразительными пробелами на ней оказа-

лись бы не отдаленные и неприступные уголки, а именно большие города».

Многолетние работы Б. А. Ларина по диалектологии — тоже проявление его интереса к живой речи. Эта тема проходит через всю его жизнь: студентом в 1913 и 1914 годах он обходит пешком Литву, изучая ее говоры, смертельно больной, он редактирует I выпуск Псковского областного словаря, мечтает о новых интересных поездках. Организатор и участник многочисленных диалектологических экспедиций, он разрабатывал и читал курс диалектологии, вел со студентами диалектологические кружки, участвовал в составлении диалектологических инструкций, вопросов, транскрипций. В изучение областных говоров Б. А. Ларин тоже вводит много нового — отказ от дифференциального изучения диалектов, стремление к возможно полному описанию всей совокупности языковых фактов, необходимость учета влияния соседних говоров, литературного языка, фольклора.

Стилистика — еще один аспект научных занятий Б. А. Ларина. Его статьи 20-х годов не только не потеряли своей новизны и остроты, но, и в этом сказалась его научная прозорливость, стали особенно актуальны теперь, когда на проблемы стилистики обращено большое внимание. В публикуемых сейчас работах мы постоянно находим ссылки на высказанные Б. А. Лариным суждения о многозначности и свежести поэтической речи, ее органической связи с контекстом, об особых эстетических значениях слова. Последняя работа по стилистике опубликована уже посмертно — «„Чайка“ Чехова (Стилистический этюд)».

Научные работы Б. А. Ларина были

всегда тесно связаны с его организаторской деятельностью — декана, заведующего кафедрой, руководителя различных экспедиций и конференций, зачинателя и вдохновителя больших коллективных трудов. В 1960 году при Ленинградском университете Б. А. Ларин создает лексикографическую лабораторию — Межкафедральный словарный кабинет (носящий теперь его имя). Здесь он руководит составлением ряда разнообразных и оригинальных словарей: Псковский областной словарь задуман как первый полный словарь говоров, снабженный историческими комментариями (вышел I выпуск); Словарь к автобиографической трилогии Горького отражает все особенности индивидуальной манеры писателя, его художественный стиль; Словарь к «Молению Даниила Заточника» должен лексикографическими средствами вскрыть наиболее архаический слой, отразить эволюцию текста, обнаружить явные описки и своеобразные лексические замены; Словарь к произведениям М. Пуймановой — сохранить в двуязычном чешско-русском словаре особенности языковой манеры автора. В кабинете ведутся работы и по ряду других словарей, идет сбор материала к тому словарю, который, по словам Б. А. Ларина, ему «дороже всех других замыслов» — Обиходному словарю Московской Руси XV—XVII веков.

Больше всего ненавидел Б. А. Ларин равнодушие — в науке, в жизни, в отношениях между людьми. Темпераментный ученый, увлекающийся человек, Б. А. Ларин всегда щедро делился научными идеями со своими друзьями и учениками.

**Доктор филологических наук
Е. М. ИССЕРЛИН**

ЗАМЕТКИ О ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ НЕКРАСОВА

Профессор
Б. А. ЛАРИН

Должно быть пройдет немало лет, пока доклад на тему «О языке Н. А. Некрасова» станет возможным. До синтеза исследований на эту тему еще далеко: ведь даже не начато изучение языка Некрасова-драматурга, прозаика, публициста и критика. Я ограничиваю свою задачу прояснением двух вопросов: о народности поэтического языка Некрасова и о так называемой «прозаичности» его.

Еще в 1947 г. С. А. Копорский опубликовал статью «Диалектизмы в поэтическом языке Н. А. Некрасова» («Ученые записки Калининского пединститута». Вып. 1), богатую материалами из лексикографических источников и замечательную обширной осведомленностью автора в русской диалектологии. С. А. Копорский показал явное преобладание севернорусского диалектального колорита в стихах Некрасова над южнорусским. Из этого тщательного и весьма ценного исследования С. А. Копорского видно, как ничтожен удельный вес диалектизмов в строгом смысле слова в поэтическом языке Некрасова. Пяток южнорусских, около двадцати севернорусских, да еще пяток общенародно-разговорных слов, неизвестных раньше литературному языку, — вот и все обогащение за счет диалектизмов. Это составит не более десятой доли одного процента (т. е. одной тысячной) всего словарного состава поэзии Некрасова. Так же невелики и грамматические диалектизмы. Следовательно, народность поэтического языка Некрасова никак нельзя основывать ни на полном владении родным ему ярославским диалектом, ни на хорошем знании многих других народных диалектов, как это чаще делали.

Некрасов обновляет и значительно обогащает язык поэзии словами, конструкциями и оборотами общерусского национального языка, смелее других черпая из простонародного разговорного языка и народной поэзии свежие средства, а не уснащает его диалектизмами или арготизмами. Но главное основание народности языка Некрасова в том, что он — чем позже, тем больше — освобождается от традиций высокого языка поэзии,

Статья публикуется впервые.

противопоставленного раньше всем другим типам литературного языка. Преодоление этой обособленности языка поэзии — главная заслуга Некрасова в истории русского литературного языка.

Общепринятый грамматический строй и общепринятый словарный запас языка становятся господствующей стихией в поэтическом языке Некрасова. Мужественное, смелое, мудрое и дальновидное проведение реформы литературного языка происходило в ожесточенной борьбе с эпигонами «пушкинской гармонии», «пушкинской фактуры». Некрасов сознательно добивался уничтожения дистанции между языком поэзии и языком публицистики, газетного очерка. Это — в одном направлении, а в другом — между языком поэзии и общепринятым разговорным языком вплоть до его простонародного типа, от которого особенно брезгливо ограждали литературный язык жрецы чистого искусства.

И поныне это дело Некрасова продолжается, этот его завет выполняется упорным и плодотворным трудом современных поэтов. А тогда Некрасову надо было для этого вытравить свои лирические трафареты (книга «Мечты и звуки»), преодолеть не только развенчанные традиции романтизма в поэзии, но и влияние Кольцова, Лермонтова, Пушкина. Реминисценции из кумиров русской литературы того времени надо было приглушить дерзким сочетанием их с «прозаизмами» или «мужицкой речью» (как называли элементы народности в его языке защитники «пушкинского начала»). Вот пример [«Поэт и гражданин»]:

Но гром ударил; буря стонет
И снасти рвет и мачту клонит —
Не время в шахматы играть,
Не время песни распевать!
Вот пес — и тот опасность знает
И бешено на ветер лает:
Ему другого дела нет...
А ты что делал бы, поэт?
Ужель в каюте отдаленной
Ты стал бы лирой вдохновенной
Ленивцев уши услаждать
И бури грохот заглушать?

Отзвуки Пушкина и Лермонтова переведены в новую стилистическую тональность и в этих контрастных сочетаниях с обычными или фамильярными речевыми оборотами («Не время в шахматы играть», «Не время песни распевать», «Вот пес — и тот опасность знает») или с трагестией высокого поэтического стиля («А ты что делал бы, поэт?», «Лирой вдохновенной ленивцев уши услаждать») — они несут двойную семантическую нагрузку: формул эстетического манифеста и революционных лозунгов.

Вторым примером послужит стихотворение из «Последних песен»:

Великое чувство! у каждых дверей,
В какой стороне ни заедем,
Мы слышим, как дети зовут матерей
Далеких, но рвущихся к детям.

Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем,
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем!

Так запой, о поэт, чтобы всем матерям
На Руси на святой, по глухим деревьям
Было слышно, что враг сокрушен, полонён,
А твой сын — невредим и победа за ним,
«Не велит унывать, посылает поклон...».

Я не знаю, писал ли Некрасову какой-нибудь знаменитый современник, что последняя строфа здесь «пришита» (как выразился о другом стихотворении Тургенев) и нарушает «поэтическую гармонию», но в досоветских изданиях эта третья и последняя строфа не печаталась. Не потому ли, что в ней — и перебой ритма и будто неожиданный новый мотив: не о сыновней любви и не о материнской, а о поэте народной победы, о котором мечтали Добролюбов, Чернышевский и сам Некрасов, о победе после долгих мук, о неизбежной грядущей победе народа над угнетателями. Не потому ль, что именно в этой строфе появляются не свойственные высокой поэзии слова и конструкции: «Не велит унывать, посылает поклон» — это взято Некрасовым в кавычки, это цитата из солдатского письма.

«На Руси на святой, по глухим деревьям» — как из народной сказки. Но только последняя строфа и создает полноту значимости этого стихотворения, только она и проясняет глубокую некрасовскую тему: матери — родины, сына — борца за ее освобождение. Только третья строфа оправдывает и просветляет скорбно-приподнятый тон двух первых, и без последней строфы в этом стихотворении меркнет огонь некрасовского стиля.

Можно показать и на других стихотворениях Некрасова характерное для него замыкание простыми народным речением, контрастирующим и приносящим какую-то разрядку, свежую струю прохлады — после патетического напряжения, сосредоточенного в начальных звеньях композиции:

Черный день! как нищий просит хлеба,
Смерти, смерти я прошу у неба,
Я прошу ее у докторов,
У друзей, врагов и цензоров.
Я взываю к русскому народу:
Коли можешь, выручай!
Окуни меня в живую воду
Или мертвой — в меру дай.

Оскорбительное для уха благородных дам построение при разработке трагической — и может ли быть трагичней! — темы вызывало нападки и глумление. Но то, что более всего осуждали важные персоны современной Некрасову «российской словесности», то и было долговечным, насущно необходимым в процессе создания языка общенародной литературы.

В полной мере нашел признание стиль и язык Некрасова только в советскую эпоху. Теперь только он и имеет наследников своего дела, а в этом и высшая степень признания. Народность поэтического языка Твардовского или Суркова зиждется на тех же основаниях, что и народность Некрасова. Напомню их:

1. Широкое владение фондом национального языка во всех его проявлениях: в старой и новой литературе, в публицистике и науке, в многообразных разновидностях разговорной речи — общенародной и диалектальной.

2. Отбор — строгий и вдумчивый — ценного и пригодного для общенародного языка из непосредственного повседневного опыта и наблюдений писателя, поэта, отбор метких, доходчивых, верных слов и оборотов из творимого народом обогащения и обновления языка.

3. Смелое новаторство применений, сочетаний и построений из общенародного языкового материала; творческое обогащение общенародного языка своими стилистическими достижениями.

Второй вопрос в пределах большой нашей темы — о «прозаичности» стихов Некрасова.

Довольно ясна нам причина противоречивости, полярной противоположности оценок и суждений современников. В эпоху обостренной борьбы литературных направлений, ярко отразивших социально-политические противоречия и конфликты, не могло создаться одинаковое отношение, единый приговор такому яркому писателю и выдающемуся общественнику.

Дряхлый защитник литературных вкусов первой четверти XIX века, профессор Плетнев мог назвать стихи Некрасова «собранием грязных исчадий праздности» (1845). В запальчивости полемики и вражды Тургенев мог сказать в 60-х годах: «Поэзия тут и не ночевала». Но Чернышевский в последние дни Некрасова предсказал: «Его слава будет бессмертна, ...вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов». Однако и после смерти Некрасова Лев Толстой говорит о «фальшивом простонародничаньи» (1878), а Плеханов через 25 лет после смерти Некрасова (1903) почти повторяет тургеневские слова: «Поэзии тут нет никакой». А. Блок в своих последних книгах (1918—1919) стремится уловить отблеск поэтического гения Некрасова, вдохновляется его порывами, воспроизводит его стиль.

Противоречивость восприятия поэзии Некрасова в эти времена уже, видимо, не обусловлена близостью или противоположностью политических позиций. Ведь Плеханов принадлежит к тому поколению революционеров, которое можно назвать

«некрасовским призывом», а Блок был достаточно огражден от культа революционеров-демократов.

Нужно помнить, что восприятие Некрасова определялось отношением к его реформе поэтического языка, и осуждение проистекало из неприятия этой реформы, из верности «пушкинской гармонии», а эта верность канону дожила не только до Плеханова, но и до наших дней. Сближение с прозой, сближение с разговорным языком и просторечием — это осознанная задача ряда поколений поэтов от Некрасова до наших дней, задача еще не решенная.

Но есть поэтичность и в прозе, и в фольклоре, и в разговорной речи. Следовательно, есть и другая сторона вопроса. Можно воспринимать стихи как прозу, каковы бы ни были их поэтические достоинства; можно воспринимать, улавливать поэзию и в прозе. Если каждое слово поэта — в любых стихах — понимать наподобие термина, в одной семантической плоскости (или, говоря обывательским языком, «буквально»), то будет разрушен поэтический замысел, снято поэтическое качество любого шедевра, ибо оно обусловлено смысловым и эмоциональным содержанием поэтической формы. Поэтому поэтический текст может не звучать, восприниматься как проза. Чем более чужд, далек от поэта по своим воззрениям, настроениям, отношениям к действительности его читатель, тем меньше он способен воспринимать его поэзию. И наоборот, однако, и у близкого читателя возможен временный разлад с поэтом.

Какой-то глухой фильтр, какой-то амортизатор эстетического воздействия может возникать и временно, мимолетно, в переменчивом течении общественных и личных настроений. Восхваляя же Тургенев в 50-е годы Некрасова: «...стихи твои просто пушкински хороши,— я их тотчас на память выучил»; и он же: «Ты — поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе» (цитируется по книге В. Е. Евгеньева-Максимова «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова». Т. 2. М.—Л., 1950, стр. 329 и 326). Литературоведы знают множество примеров забвения и воскрешения поэтов, приливов и отливов читательских восторгов. Обратимся к анализу нескольких стихотворений Некрасова.

Подражание Шиллеру

II

Форма

Форме дай щедрую дань
Временем: важен в поэме
Стиль, отвечающий теме.
Стих, как монету, чекань
Строго, отчетливо, честно.
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.

Здесь рассмотрим самые общеизвестные и повторяемые даже без мысли о Некрасове два последних стиха:

Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.

Мы понимаем их поэтически. Сделаем эксперимент: прочтем их как прозу, пойдем слова «буквально». «Чтобы словам было тесно» — надо взять побольше слов или громоздкие слова, тогда им и будет тесно в стихе. «А мыслям просторно», значит, поменьше мыслей, когда их немного — просторно, если много — им будет тесно. Итак, пишите многословные стихи, бедные мыслями. Однако никто так не понимает этих стихов. Мы так понимаем: чтобы слова поэта в стихе были слажены плотно, как разноцветные доли стекла в мозаике, без просвета, одно к одному. Чтобы за этими словами стиха мысли возникали одна за другой, чтобы открывались за словами смысловые просторы, не семантическая плоскость, а глубокая смысловая перспектива. Но это толкование основано целиком на метафоризации.

Выше я цитировал стихотворение «Великое чувство!» и метафорическим анализом раскрыл семантическое богатство третьей строфы. Можно было бы обвинить меня в субъективизме, в произвольности толкования: что-то уж очень много вычитано из одной строфы! Но мы воспринимаем поэта в контексте всех или многих его произведений, и это наиболее полное и адекватное восприятие. Сопоставим же со стихотворением «Великое чувство!» такой отрывок из «Поэта и гражданина»:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно,
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

Второй смысловой план этого отрывка был так очевиден для современников, что о нем весьма обстоятельно доводил до сведения всех иногородних цензоров сам министр Норов: «И по всему ходу стихотворения, и по самым выражениям выписанных мест явствует, что тут идет речь не о нравственной борьбе, а о политической, что здесь говорится не о тех жертвах, которые каждый гражданин обязан принести отечеству, а говорится о тех жертвах и опасностях, которые угрожают гражданам, когда они восстают против существующего порядка и готовы пролить свою кровь в междоусобной борьбе или под карою закона» (см. В. Е. Евгеньев-Максимов. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. Т. 2, стр. 299). Если бы кто сомневался в метафоричности

языка Некрасова (см. Н. Степанов. Как писал стихи Некрасов.— «Литературная учеба», 1933, № 3/4, стр. 68: «Метафора почти не участвует в системе некрасовских образов»), то этот циркуляр должен рассеять все сомнения. Как жаль, что он не был своевременно напечатан, едва ли Некрасов захотел бы иметь лучший комментарий.

Таким же объективным критерием современного Некрасову восприятия для стихотворения «Забытая деревня» является докладная записка чиновника особых поручений Волкова. Он вскрывает семантическую двуплановость этого стихотворения: «Видимая цель этого стихотворения — показать публике, что помещики наши не вникают вовсе в нужды крестьян своих; даже не знают о них и вообще не пекутся о благосостоянии крестьян. Некоторые же из читателей под словами „забытая деревня“ понимают совсем другое, — они видят здесь то, чего вовсе, кажется, нет, — какой-то тайный намек на Россию». В книге В. Е. Евгеньева-Максимова этот намек раскрыт до предела.

Последний пример. Стихотворение «На смерть Шевченко» могло бы послужить, как кажется на первый взгляд, подтверждением слов Плеханова: «Человек не справляется со своими поэтическими образами, и потому в его стихотворения врывается проза».

Вот первая строфа:

Не предавайтесь особой унылости:
Случай предвиденный, чуть не желательный.
Так погибает по божией милости
Русской земли человек замечательный.
С давнего времени: молодость трудная,
Полная страсти, надежд, увлечения,
Смелые речи, борьба безрассудная,
Вслед затем долгие дни заточения.

Словами о смерти Т. Г. Шевченко, которые были бы на месте в официальном сообщении «Правительственного вестника», в устах жандармского полковника или высочайшего повелителя жандармов, начинается это стихотворение. Какую же вспышку ненависти, горя и ярости вызывали и вызывают эти тягучие прозаизмы, эти перлы пошлейшего лицемерия: «Не предавайтесь особой унылости: Случай предвиденный... по божией милости». Эти стихи продолжают контрастно прерывистыми «полными сухой и жесткой страсти» (Тургенев) яркими штрихами — повестью многострадальной жизни Шевченко в 14 строках:

...молодость трудная,
Полная страсти, надежд, увлечения,
Смелые речи, борьба безрассудная...

Разве не насыщено «простором мыслей» каждое слово, каждый образ этого стихотворения? А дальше — еще раз действует

«вторгшаяся в поэзию Некрасова» проза, еще раз стреляет это на диво заряженное ружье, когда читаем конец второй строфы:

Там, оскорбляемый каждым невеждою,
Жил он солдатом с солдатами жалкими,
Мог умереть он, конечно, под палками,
Может, и жил-то он этой надеждою.

«Желательный случай» для царя Александра II, Эта желательная смерть совершена была умелыми руками палачей, желательная и для самого Шевченко. Протесты, рыдания, проклятия друзей — весь ужас судьбы поэта выражен — да, выражен! — в затаенных, иносказательных словах, как будто эпически спокойных, беспечальных и простых, почти просторечивых:

Кончилось время его несчастливое,
Все, чего с юности ранней не видывал,
Милое сердцу, ему улыбалось.
Тут ему бог позавидовал:
Жизнь оборвалася.

Народная пословица «Ему бог позавидовал» здесь подошла и своим простодушно-патриархальным значением (как выражение предела человеческого счастья) и своим саркастическим вторым планом. А разве пуста, разве бессмысленна эта спазматическая синкопа, эта большая пауза (на шесть слогов) перед «жизнь оборвалася»?

Так обстоит дело с прозаизмами Некрасова. Может быть, не всякий раз так, но во многих случаях. Почти во всех рассмотренных примерах поэтической глубины некрасовского текста наличествовал политический, запретный смысловой план. Однако нигде он не единственный и не просто второй план, а лишь один из сопутствующих. В этом, мне кажется, существенное отличие эзопова языка поэта от эзопова языка прозаиков, например Чернышевского.

1952 год

**В следующем номере
«Русской речи»
читайте материалы, посвященные
100-летию со дня рождения
А. М. Горького**

Язык художественной литературы

Критический очерк о лирике Валерия Брюсова вошел в книгу К. И. Чуковского «От Чехова до наших дней», изданную в 1908 году. Теперь слегка исправив стиль этого очерка, автор готовит его для VI тома Собрания своих сочинений. Мы публикуем очерк с небольшими сокращениями.

В предисловии к третьему изданию книги «От Чехова до наших дней» К. И. Чуковский образно и точно определил метод, которым он пользуется во всех своих критических работах: «Пинкертоном должен быть критик: он выслеживает в художнике то, чего художник, порою, и сам не замечает в себе. Для критика, как и для Пинкертона, должен быть ненавистен всякий импрессионизм, всякое суждение по беглым впечатлениям: только факты и только вещественные доказательства должны представлять мы читателю».

Язык художественного произведения — одно из важнейших «вещественных доказательств», которые представляет читателю Чуковский-критик. Так, выявляя характерные для Брюсова грамматические категории, излюбленные слова, обороты, Чуковский приходит к интересным выводам об особенностях его поэтической манеры.

Чуковский называет Брюсова «поэтом прилагательных», певцом «качеств, свойств, пассивно пребывающих признаков». И эти наблюдения — чисто лингвистический анализ — позволяют критику раскрыть душевный мир поэта. Чуковский убедительно доказывает, что в самой речевой организации лирических стихов Брюсова ярко проявились его созерцательный ум и холодная рассудочность.

Читателям «Русской речи» будет интересно познаться с образцом филологического анализа творчества одного из крупнейших русских поэтов и отзывом самого Брюсова о книге К. И. Чуковского.

В. Д.



Поэт прилагательных

Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит.
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид,

Е. БАРАТЫНСКИЙ

В книгах Валерия Брюсова очень много стихов о любви. Это не та застенчивая, робкая любовь, которую так часто воспевали лирики прошлого века, любовь, питающаяся сладкой мечтой и надеждой,— это жаркая, испепеляющая страсть.

Нежные вздохи остались далеко позади, «дуновенье страсти знойное налетело, как гроза», и поэт недаром вспоминает:

Все слова, какие мучат воспаленные уста,
В час, когда бесстыдству учат — темнота и нагота!

(Первые встречи)

И все же эта вихревая, безумная страсть едва ли заражает читателя, так как четкие, классически чеканные строки, посвященные Брюсовым ей, сами по себе очень бесстрастны. В их горячем пафосе мы чувствуем холод, в их бурных излияниях — безмятежный покой:

Мои стихи — сосуд волшебный
В тиши отстоянных отрав!

(Одному из братьев)

— сказал о своей поэзии Брюсов, и если в этот волшебный сосуд заключить самые клокочущие, кипучие чувства, они заледенеют там раз навсегда, словно скованный морозом водопад.

Было «безумие и ужас», «крик желаний» и «страсти бешеный язык», а «отстоялись» стройные и слишком уж четкие строки:

Кто над пропастью опасной
Дал нам взор во взор взглянуть?
Кто связал нас мукой страстной?
Кто нас бросил — грудь на грудь?

Мы не ждали, мы не знали,
Что вдвоем обречены:
Были чужды наши дали,
Были разны наши сны!

Долго, с трепетом испуга,
Уклонив глаза свои,
Отрекались друг от друга
Мы пред ликом Судии.

(В застенке)

Стихи отличные, но рациональные, уместенные. Над всеми их восклицаниями чувствуешь затаенную формулировку знакомого тезиса о мучи-

тельности пламенной страсти, а также об ее подчиненности высшей, от нас не зависящей воле. Как выдержан чуть-чуть риторический период в первой строфе, как обдуманы эпитеты — и даже эти строки:

В диком вихре — кто мы? что мы?
Листья, взвитые с земли!
Сны восторга и истома
Нас, как уголья, прижгли.

— даже эти строки «отстоены» в «волшебном сосуде» поэтического созерцания. Поставьте рядом с ними стихи Бальмонта на ту же тему, и хотя они покажутся вам невыносимо вульгарными, вы все же почувствуете в них живое биение подлинных чувств, пусть и фатоватых, но подлинных:

Хочу я зноя атласной груди,
Мы два желанья в одно сольем.
Уйдите, боги! Уйдите, люди!
Мне сладко с нею побыть (!) вдвоем!

Если всмотреться в стихи Валерия Брюсова, посвященные страсти, из них можно вывести ряд точнейших определений и формул. Раньше всего, страсть, по Брюсову, — это мука и боль: поэт —

Как на костер, входил на ложе,
Как в плаху, поникал на грудь.
(La belle dame sans merci)

Ласка возлюбленной для него: «пытка», «застенок», «сораспятие», «крестная мука», «гроб объятий»,

Где же мы: на страстном ложе
Иль на смертном колесе!

(В застенке)

И если он зовет женщину на «страстное ложе», он зовет ее к страданию и ужасу:

Идем творить обряд! Не в сладкой, детской дрожи,
Но с ужасом в зрачках — извивы губ сливать,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе
И ждать, что страсть придет, незванная, как тать.
(Обряд ночи)

Любовные объятия изображаются им, как самая жестокая казнь:

Гвозди железные
В руки вонзаются.
Счастье распять
Душит меня,
Падаю в бездны я.
Тесно сжимаются
Руки, объятия,
Кольца огня.

(Обряд ночи)

Нужно ли говорить, что страсть для него не только мука, но и некое сражение, «роковой поединок» двух душ.

«Упорная борьба», «бой» — называет ее Брюсов, и в минуту страсти его лирический герой говорит возлюбленной: «ты мой давнишний враг», «необорный противник».

Таково второе свойство страсти.

Третье ее свойство заключается, по Брюсову, в том, что она трагически бессильна: она обещает выплеснуть душу влюбленного за узкие рамки его одинокого «я» и не сдерживает своих обещаний. Брюсов жалуется на эту «тщету объятий, сопрягающих тела», в таких опять-таки слишком отчетливых и метких стихах:

Срываи последние одежды
И грудью всей на грудь прильни.—
Порыв бессилен! нет надежды!
И в самой страсти мы одни!
Нет единенья, нет слиянья —
Есть только смутная алчба,
Да согласованность желанья,
Да равнодушные раба.

(Одиночество) \

Четвертое свойство страсти заключается, по Брюсову, в том, что она неизбежна. Это «общий путь» для смертных, и, как ни проклинай его, ты пройдешь его весь до конца: «Взоры уклоняя, шепчешь ты проклятья общему пути,— зная! зная! зная, что тесней объятья мы должны сплести!». Другого исхода у нас нет:

Одно нам осталось — сближаться, сливаться,
Слипаться устами, как гроздь висеть.

(Из ада изведенная)

Итак, вот какова страсть: 1) она воплощает в себе борьбу — поединок, 2) она мучительна, 3) она трагична, 4) она неотвратима, как судьба.

Тороплюсь уведомить читателя, что меня несколько не занимают сейчас эти брюсовские определения страсти. Я только затем излагаю их одно за другим, чтобы продемонстрировать, какая четкая определительность свойственна аналитическому мышлению Брюсова. Мысли его до такой степени ясны, так далеки от туманных стихов символистов и мистиков, что их можно пересказать прозой, рассортировать по логическим рубрикам.

В поэзии Брюсова страсть, как и многие другие явления, вымерена, взвешена, определена и обдумана. Стихи Брюсова о страсти суть различные качественные оценки этого бурного чувства, его особые приметы и признаки; иначе говоря, они суть прилагательные при существительном «страсть»: страсть мучительна, трагична, неотвратима и проч.

Брюсов — певец качества, свойств, пассивно пребывающих признаков. Он знает одно лишь отношение к миру — измерение, определение, взвешивание, недаром созданный им ежемесячник носит название «Весы».

Поэт-оценщик, он воистину поэт прилагательных.

Его ранняя книга «Urbi et Orbi» (лат. «Граду Риму и миру» — слова из молитвы римского папы) содержит в себе множество стихов (таких, как «Италия», «Наполеон», «Лев св. Марка», «Habet illa in alvo», лат. «Она несет во чреве»), где определяются именно качества, свойства, приметы всевозможных явлений, вещей и людей.

Таково его стихотворение «Городу», там определяются качества города:

Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проволок обвит,
Ты — чарователь неустанный,
Ты — неслабеющий магнит.

(Заметьте его любимое «ты», свойственное дифирамбам и одам.)

Таково же его стихотворение «Война», где дано определение войне:

Ты — дочь губящего Раздора,
Дитя нежданное, Война.

Таково же его стихотворение «Хвала Человеку», там определяются свойства человека:

Молодой моряк вселенной,
Мира древний дровосек,
Неуклонный, неизменный...
и т. д.

Таково же его стихотворение «Италия», где определяются свойства Италии:

Страна, измученная страстностью судьбы!
Любовница всех роковых столетий!..

Таково же его стихотворение «Женщина», там определяются свойства женщины:

Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый стих.

Ты — женщина. Ты — ведьмовский напиток!

Таково же его стихотворение «К металлам», где последовательно перечисляются свойства золота, серебра, бронзы, стали:

Золото, убранство тайного ковчега...
Золото, добыча хищного набега.
Золото, ты символ сладострастной мощи...

Таково же его стихотворение «Фонарики», где последовательно (и даже аккурратно) перечисляются свойства различных эпох:

Век Данте — блеск таинственный, зловеще золотой...
Лазурное сияние, о Леонардо — твой!..
Большая лампа Лютера — луч устремленный вниз...
Две маленькие звездочки, век суетных маркиз...
Сноп молний — Революция! За ним громадный шар,
О ты! век девятнадцатый, беспламенный пожар!

и т. д.

Таково же его стихотворение «Царю Северного Полюса»: там последовательно перечисляются свойства земли, воды, воздуха:

Я вода. Я в вечной смене.
В дрожи долгой не устала...
и т. д.

Я огонь. Мой лик случаен,
Вольной прихоти послушен...
и т. д.

Воздух, я незрим, неслышен,
Я пронык в глубины скважин...
и т. д.

Я земля. Я, косность мира,
Сотворила горы, скалы...
и т. д.

С виду как будто гимн, восторг, дифирамб, упоение, ода, а на деле — перечисление свойств, качеств, определений взвешенных и строго обдуманных.

С виду — глаголы, а по существу — прилагательные.

В этом избытке оценочных стихов сказывается ум созерцательный, зорко всматривающийся в характерные приметы вещей, но стоящий от них в стороне, не причастный их динамической жизни.

Этот холодный рассудок способен создавать целый ряд более или менее точных определений, строго взвешенных, обдуманных оценок, но не знающий глагольных сказуемых, которые придали бы всем этим людям, странам, страстям и предметам живую жизнь, живое движение.

Даже буквально, а не в том полупереносном смысле, какого я держался до сих пор, стихи Брюсова почти всей тяжестью лежат на своих определениях, на эпитетах, а не на глаголах.

Вот типично брюсовское стихотворение:

Яростные птицы с огненными перьями
Пронеслись над белыми райскими преддверьями,
Огненные отблески вспыхнули на мраморе,
И умчались странницы, улетели за море.
Но на чистом мраморе, на пороге девственном,
Что-то все аделось блеском неестественным,
И в вратах под сводами, вечными, алмазными,
Упивались ангелы тайными соблазнами.

(Яростные птицы)

Как неравномерно распределено здесь внимание между свойствами вещей и их действиями. Свойствами вещи наделены здесь до предела (яростные, огненные, белые, райские, вечные, неестественные, алмазные, тайные и проч.), а действия однообразны и банальны и повторяют друг друга (пронеслись, умчались, улетели).

Отсутствие глагольного сказуемого не грамматический ущерб, но душевный.

У Пушкина — до чего одинаково распределены все грамматические категории слов. Пушкинская грамматика — чудо душевного равновесия, душевной гармонии. И если воспринять пушкинскую поэзию как некую норму человеческой речи, можно сразу заметить, как сильно отклоняется от нормы творчество Валерия Брюсова из-за чрезмерного скопления обдуманных, но не пережитых им эмоций.

Сладострастие, одиночество, деторождение, городские встречи, Лев Св. Марка, Наполеон, женщина-любовница, женщина-мать, бой часов, Венеция — все это изучено его аналитическим разумом, но не перешло в лирику. Осталось тем же, чем было и раньше.

Он глядит на все со стороны, и все, что ни попадает ему на глаза, спешит изукрасить десятками метких своих прилагательных, но все остается по-прежнему, как чаша останется чашей, если даже вырезать на ней прекрасный узор.

Нужно расплавить эту чашу в огне, нужно творчески преобразить ее форму, тогда резчик по металлу воистину станет творцом.

Через все книги Брюсова проходит это великое желание — не только вскрывать в вещах их пассивные признаки, но и преобразать эти вещи, оживотворять их динамическим чувством.

Книги Брюсова жаждут действия, и так как это им недоступно, прилагательные начинают облыжно выдавать себя за глаголы, и все те свойства, которые вскрывает в разных вещах поэт, он с помощью внешних приемов, искусственно превращает в действия.

Вскрыв, например, свойства беременной, он перечисляет их в глагольной форме и непременно в виде непосредственного обращения: О ты! — потому что так получится хоть видимость активного отношения к миру:

Ты охраняешь мир таинственной утробой.
В ней сберегаешь ты прошедшие века,
Которые преемственностью живы...

(Habet illa in alvo)

— и этим приемом инстинктивно стремятся избежать своего прискорбного изъяна. Но ведь этот прием чисто внешний; психологически же он ничего не меняет. Скажите вместо «синее небо» — «о, небо! ты синешь!», вы сделаете именно то, что делает Брюсов, когда говорит: «О, война! ты дочь губящего раздора!» или О, человек! ты «молодой моряк вселенной!» или «О, Италия! ты — любовница всех роковых столетий!» или «О, женщина! ты книга между книг», — пытаюсь такими искусственными внешними средствами устранить свой внутренний изъян.

Прилагательное томит, угнетает и преследует по пятам. Брюсов принимает последние меры: пусть все эти определения страсти рождаются якобы в самый момент страсти и все свои мысли об Эросе он пытается высказать якобы от имени любовника, который именно сейчас, в этот миг обнимает любимую женщину. Пусть исчезнут все следы созерцания. Мужчина на страстном ложе будет говорить женщине о трагичности страсти:

Связанные взглядом,
Над открытой бездной
Наклонилсь мы,
Рядом! рядом! рядом!
С дрожью бесполезной
Пред соблазном тьмы.

Взоры уклоняя,
Шепчешь ты проклятья
Общему пути,—
Зная! зная! зная,
Что тесней объятья
Мы должны сплести!

(Видение крыльев)

Но ведь страсть потому и трагична, что в ту минуту, когда люди переживают ее, они верят ее сладким обманам. А если я знаю, что обманщик — обманщик, как же я буду обманут? Что-нибудь одно: либо на «страстном ложе» мы не знаем, что страсть — обман, и тогда она действительно обман. Либо мы знаем — и тогда здесь нет ни трагедии, ни страсти. Не ясно ли, что Валерий Брюсов свое пассивное созерцание страсти выдает за кипучую страсть.

Прилагательные Брюсова всегда имеют общий характер. У героини его многочисленных любовных стихов нет лица, нет глаз, нет улыбок и слов. Она любовница в о б щ е, может быть древняя Лилит, может быть Клеопатра, а может быть Анна Каренина.

Это всякая женщина на всяком «страстном ложе».

Пушкин тоже описывал «страстное ложе», но там каждое слово индивидуализировало любимую женщину: «смиреница моя», «стыдливо-холодна» и т. д. А у Брюсова каждое слово обобщает ее: любовница у него — синтетическая. В его «Хвале Человеку» воспевается всякий человек, опять-таки без лица и без имени и в стихотворении «Городу» — всякий современный капиталистический город. Слишком долго «отставались» эти стихи, откуда не исчезли у них индивидуальные качества.

Отдельные случаи как будто не случаются в жизни поэта. Все здесь обобщено, абстрагировано. Оттого-то в его наиболее типичных стихах совсем нет слов «сегодня, вчера», указующих на определенное время каких-нибудь отдельных событий.

Он не скажет, как Некрасов:

Вчера шнй день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную.
Там били девушку кнутом,
Крестьянку молодую,—

и это, повторяю, в нем черта органическая, ибо вся красота в его стихах рождается именно из отвлеченностей, ими он живет и питается. И когда он говорит:

Молодой моряк вселенной,
Мира древний дровосек,
Неуклонный, неизменный,
Будь прославлен Человек!

— речь у него идет о том самом Кае, про которого толстовский Иван Ильич узнал из учебника логики, что он смертен,— о прекрасном Кае, великольном Кае, родственнике других Каев современной словесности, но не имеющем никаких индивидуальных примет.

Такие обобщения достигаются уходом от реальной действительности. Книжки Брюсова — это порывы могучего духа преодолеть свое медитативное созерцательное отношение к жизни.

Всякий раз, когда Валерию Брюсову случается хоть на короткое время забыть о своей принадлежности к лагерю символистов и мистиков, он создает добротные произведения поэзии, которым обеспечена долгая жизнь в искусстве. Истинным шедевром представляется мне, например, его стихотворение «Первые встречи» с такой быстрокрылой стремительной дикцией, с такими звонкими переключками внутренних рифмованных слов, несущих на себе главную смысловую нагрузку:

Как любил я, как люблю я эту робость первых встреч,
Эту беглость поцелуя и прерывистую речь!..
Вижу губы в легкой сети ускользающих теней.
Мы ведь дети! все мы дети, мотыльки среди огней!

Страсти сны нам только снятся, но душа проснется
вновь,

Вечным светом загорятся — лишь влюбленность! лишь любовь!

Прекрасно и по своей своеобразной структуре и по безошибочно найденному «железнодорожному» ритму брюсовское стихотворение «В вагоне»:

В ее глаза зеленые
Взглянул я в первый раз,
В ее глаза зеленые,
Когда в них свет погас.

Надолго запомнятся его «Грядущие гунны» с их афористической концовкой:

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светлы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры...
Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Безупречно сработано стихотворение «Встреча», где на каждые три строки приходится девять созвучий:

Близ медлительного Н и л а, там где озеро М е р и д а,
в царстве пламенного Р а,

Ты давно меня л ю б и л а, как О з и р и с а И з и д а,
друг, царица и с е с т р а.

И к л о н и л а п и р а м и д а т е н ь на наши в е ч е р а.

Стихотворение зиждется на мистической вере в переселение душ, но ее почти не замечаешь, восхищаясь высоким достоинством трудоемкой поэтической формы.

В этих стихотворениях, где Брюсов изменяет своей обычной поэтике, он встает перед нами как изысканный художник созвучий и ритмов, смелый обновитель поэтической лексики.



Все это я написал о Валерии Брюсове шестьдесят лет назад, едва только вышли его лучшие книги «Urbi et Orbi» («Граду и Миру»), «Stephanos» («Вепок») и «Зеркало теней». Когда статья появилась в печати, я очень боялся, что она покажется ему оскорбительной. Этого не случилось. На страницах своего журнала «Весы» он под прозрачным псевдонимом Аврелий великодушно приветствовал появление той книги, где была напечатана эта статья.

«...Трудно забыть,— писал он,— отдельные меткие выражения г. Чуковского, которые он с расточительностью богача рассыпает по своим этюдам; «...большинство портретов сделаны рукой смелой, уверенной и до паразительности легкой...»; «Карикатуры г. Чуковского блистательны...»; «Я думаю, что Валерий Брюсов, прочтя статью о себе в книге г. Чуковского, несколько дней не мог отделаться от мысли: а что если я в самом деле поэт прилагательных?».

Я читал и радовался. Какой же критик не бывает польщен, если критикуемый автор признает его суд справедливым. Но, вчитываясь в статью, я

с огорчением увидел, что Брюсов был готов согласиться со мною лишь в первые дни по прочтении статьи. А потом, когда эти дни миновали, он окончательно «отделался от мысли», что мною была верно подмечена основная черта его творчества.

Таким образом, его похвала оказалась хулой. Причем он тут же с большим остроумием объяснил причину моих прискорбных отклонений от истины. По его словам, дело объясняется просто: карикатуры мои, оказывается, «нарисованы с такой силой, с такой яркостью, что как бы олепляют и совершенно заслоняют образ писателя (Аврелий. К. Чуковский. От Чехова до наших дней.— «Весь», 1908, № 11, стр. 59).

Естественно, это огорчило меня. Но через несколько строк я утешился: словно позабыв о своем приговоре, Брюсов поторопился признать, что мои «карикатуры» верны. («Книга („От Чехова до наших дней“),— писал он,— за один год вышла третьим изданием, и мы очень рады, что читатели предпочитают знакомиться с современной русской литературой по этим блестящим и верным (подчеркнуто мною.— К. Ч.) карикатурам».

Назвав на одной странице мои заметки о писателях глубоко ошибочными, он через две-три минуты называет их верными. Очевидно, ему показался ошибочным лишь тот отзыв, который был дан в моей книге о нем.

Позднейшая критика вполне подтвердила мой юпошеский диагноз о Брюсове как о «рационалистическом», «интеллектуальном» поэте, чуждом тому культу священного безумия и огненной страсти, которые он воспевал в своих стихах.

Современный исследователь поэзии Брюсова, автор талантливой книги о нем, Д. Максимов утверждает в предисловии к его «Стихотворениям и поэмам», что основной чертой его творчества был глубоко затаенный «инстинкт трезвости», что мистицизм был его писательской позой, что все его мнетические и символические декларации противоречили его подлинным убеждениям и чувствам (Д. Максимов. Поэтическое творчество Валерия Брюсова. Вступительная статья к «Стихотворениям и поэмам» Валерия Брюсова. Л., 1961, стр. 20).

Это не мешает исследователю признать великие заслуги Валерия Брюсова как замечательного деятеля русской культуры. «Валерий Брюсов,— говорит он в статье,— вошел в историю литературы как всероссийский известный поэт и ученый, обладавший огромным запасом знаний и многосторонней культурой, как вождь русского символизма, как прозаик и переводчик, как литературный критик, исследователь Пушкина, знаток и историк русской, французской, римской и армянской поэзии, теоретик стиха и вместе с тем как один из тех немногих законодателей индивидуалистического искусства, которые оказались в силах после Октября порвать с буржуазным миром и перейти на сторону победившего народа» (Там же, стр. 26—29). Справедливость этих слов для меня несомненна.



В жанре дамской повести

(о языке и стиле
повести И. Грековой
«На испытаниях»)

Вопросы традиции и новаторства в жанре дамской повести не так давно рассматривались в остро полемической статье Н. Ильиной, напечатанной в «Новом мире» (1963, № 3). Зло высмеивает писательница современных продолжателей госпожи Вербицкой, чей роман «Ключи счастья», выпедивший перед первой мировой войной, давно уже стал эталоном особого жанра любовной повести.

Специфика жанра дамской повести издавна определяется причудливым смещением интеллектуальных и чувственных начал у героев (с явным преобладанием вторых), своеобразным мироощущением автора и особенностями его стилистики. Сравнение общих мест в описаниях чувств персонажей у Вербицкой и современных авторов, деталей портрета и манеры изъяснения приводят Н. Ильину к неутешительному выводу о том, что влияние госпожи Вербицкой «не преодолено и нашими современниками».

Да, жанр дамской повести неистребим. Он не только сохраняется по традиции или остаточно, но и развивается — обогащается новыми красками, мотивами — он «осовременивается».

Перед нами новая повесть И. Грековой «На испытаниях». Герои ее (список их дан в «Полетном листе», открывающем повесть) в течение месяца — с 1 июля по 1 августа 1952 года — находятся на испытаниях нового вида вооружения в степном военном городке. Секретный характер их трудовой деятельности позволяет автору обойти молчанием эту сторону жизни героев и сосредоточить внимание на их личных взаимоотношениях в свободное от службы время. Осуществляется это в лучших традициях дамского романа.

О чем говорят между собой мужчины? Конечно, о женщинах:

«— Одна полна, другая худа... Нет золотой середины» (стр. 49); «— А что, она вам нравится? — Как вам

сказать... слишком худа.— Женщина не может быть слишком худой» (стр. 39); «— Знаю, что вы предпочитаете брюнеток средней упитанности, в отличие от Теткина, который более разнообразен в своих вкусах» (стр. 44). Некоторое однообразие тематики перемежается разговорами на уровне «интеллектуальном»: «— Какова?— спросил Гиндин.— Герцогиня!...— Красивая женщина,— ответил Сиверс.— Главное манеры. За манеры я ее и держу... Одна беда — глуна, как гусыня.— Чему это мешает?— сказал Сиверс...» (стр. 38); или просто «мужским трёном»: «— Не путай. Пина — это в другой раз. А на этот раз была Настя» (стр. 21); «— Кандидатур у меня (для женитьбы.— Л. С.)— вся Лихаревка, да еще пол-Москвы» (стр. 49); «Ничего красивого в тебе нет. И за что только тебя женщины любят?— Тебя они, кажется, тоже не обижают» (стр. 45); «— Эх, если бы так девушки любили, я бы их пугать не стал...» (стр. 86).

О чем, в свою очередь, говорят между собою женщины? Ясное дело, о мужчинах: «— Я лично в нем ничего не вижу особенного, мужчина как мужчина, лысый и довольно пожилой, хотя и молодой годами...»; «Он (муж.— Л. С.) у меня мужчина интересный, хотя росту мало и лысина пробивается» (стр. 28). Мужской проблеме «худоба — полнота» противопоставт, как мы видим, женская проблема «лысины — шевелюры». Впрочем, физический рост и интеллектуальный уровень также неотрывны от «интересного» мужчины: «Мужчина интересный, рост высокий, я это люблю...» (стр. 29); «Только мне майор... неизмеримо больше нравится. Ты не обижайся, даже сравнения нет по культуре» (стр. 48).

Ну, и, конечно же, женщины говорят о женщинах — без этого дамский роман не был бы дамским романом: «— Я его (мужа.— Л. С.) тоже люблю, только я не такая уж темпераментная... Вот вы тоже худая, наверное, тоже не особенно страстная» (стр. 29); «— Красивая хотя бы (соперница.— Л. С.)?— Спи на ничего.— А лицо?— Не разглядела» (стр. 66).

В отношениях и разговорах мужчин и женщин палитра дамской повести разнообразится от легкой игривости: «— А вы много говорите для круглых женских глаз?— Есть такой грех» (стр. 67); «— У нас лучше,— подмигнула Клавдия Васильевна (хозяйка гостиницы.— Л. С.)— женского полу больше.— Вашего полу везде хватает» (стр. 79) до фатовства: «— Желание дамы — закон» (стр. 22); «— Симочка! Здравствуйте, деточка, вы цветете, как роза, рад вас видеть!» (стр. 31); до боязни пошлости: «— Хотите, я вас согрею?.. Нет, я без пошлостей...» (стр. 22); и до прямой пошлости: «— А что решает в этих делах?— Черт его знает. Но только не разум. Самый умный человек в любви дурак дураком» (стр. 63—64); «— Спал и видел вас во сне...— Все небось выдумываете.— Честное слово. Люблю роскошных женщин» (стр. 55); Она: «— Ему (мужу.— Л. С.) все удовольствия, и днем и ночью...» Он: «— А тебе ночью разве нет удовольствия?— Она: «— Очень редко...»; (стр. 24); Жена — мужу: «Будешь есть лук — разверну к стене» (стр. 23).

Данью традиции оказываются элементы «язвочного» слога в описаниях любовных действий и переживаний героев: «Вокруг ее рта стоял островок чистого дыхания. Он поцеловал источник этого дыхания и обмолел: он провалился во что-то свежее и ду-

шпистое, как только что скошенное сено...» (стр. 26); «— Черт его знает..., влюблен я, что ли? Нет, не похоже. Вот Верочку я любил. А здесь не то. Здесь просто странно. Странно и хорошо, и именно потому хорошо, что странно» (стр. 74). Сходные примеры из романов А. Вербицкой приводит в своей статье Н. Ильина.

В обрисовке портретов, деталей внешнего облика персонажей также легко прослеживаются черты традиции и новаторства в пределах избранного жанра. Самолюбование у зеркала, так свойственное героиням госпожи Вербицкой, уступило место любовному описанию деталей мужского и женского тела. Описание это может быть прямым или косвенным.

Прямое описание: «Она откинула простыню и села, беззастенчиво показывая милое белое тело, обзолоченное солнцем по выпуклостям» (стр. 28); «Она лежала вальяжно, лышным задом кверху, вся в песке, как обышанная булка» (стр. 47); «(Джапаридзе) лежал на одеяле, спрятав от солнца упитанный малиновый торс» (стр. 44); «Блестящая приветливая лысина его не старила» (стр. 16); «За прилавком восседала крутоплечая женщина в перманенте...» (стр. 71); «Это была толстая женщина в пестром... халате. Она бежала, переваливаясь, на очень высоких каблуках, и крупная грудь моталась туда-сюда» (стр. 54); «Клавдия Васильевна подошла вплотную к машине и положила на горячий капот свою большую грудь и голые круглые руки» (стр. 78); «Грудь ее, прижатая снизу горячим железом, выступала из глубокого выреза и лезла ему в глаза» (стр. 75).

Косвенное описание: «Напряженно нагнув голову, она стала застегивать сзади обширный голубой бюстгаль-

тер» (стр. 28); «...а рядом с ним — его жена..., с большим вырезом, косо спустившимся на одно плечо» (стр. 23).

Ушли в область преданий «тонкие (гордые) лица, «обрамленные» и т. д. На смену им явились новые детали и новые приемы их соединения. Самый современный из них — совмещение разноплановых элементов облика: цвет кожи — и глаза, темне-рамент — и глаза, рост — и глаза, одежда — и глаза и т. п. Именно по этой схеме происходит формовка портрета в повести «На испытаниях»:

«Шофер Игорь Тюменцев... терпеть не мог женщин. А они его любили. Особенно он терпеть не мог хозяйку деревянной гостиницы — жаркую, черепневоглазую Клавдию Васильевну» (стр. 74); «...маленький человек с черными горячими глазами и бритым, слоновой кости, черепом...» (стр. 24); «...рядом с ним (сидела) его жена, смуглая, недоброглазая, женщина с большим вырезом...» (стр. 23); «Слева от него сидела... Люда Шумаева, худая высокая блондинка с длинной шеей и озабоченными глазами» (стр. 24); «В дверь постучали, и вошла с подносом в руках красивая, стройная женщина, безукоризненно одетая и причесанная, с огромными диковатыми глазами» (стр. 38); «— Это же не пассажирская машина, — возразил ему длинношей, длинноногий молодой человек с темными преданными глазами» (стр. 19).

Новаторским оказывается выбор сравнений, употребляемых при описании внешности персонажей. Старомодные авторы, с их чопорной щепетильностью, не могли позволить себе подобного риска: «...Она двигалась легко, проворно, чуть изгиба-

ясь, как очень худая молодая кошка ходит вокруг ног своей хозяйки» (стр. 24); «Из-под простыни вылезла черненькая девушка, вертлявая и кудрявая, как пуделек» (стр. 28); «...и он увидел ее глаза, большие и печальные, как у тушканчика» (стр. 80); «...вошла официантка в белом передничке — толстенькая, румяная, лакированная, до того похожая на кустарную „матрешку“, что хотелось разнять ее и вынуть другую» (стр. 31).

А вот в описании такой приметы облика, как породистость, И. Грекова идет к истокам жанра и тем самым опровергает мнение Н. Ильиной о том, что «породистость лица, рук и других частей тела стала архаизмом». Оказывается, нет — вовсе еще работает эта деталь: «Она была на полголовы выше мужа... Узкие босые ступни — про них хотелось думать: не ступни, а ладони» (стр. 24); «Ада Трофимовна села, сложив на коленях сухие, продолговатые руки» (стр. 38); «Генерал Сиверс... осторожно пощупал воду породистой тонкой ногой и громко завизгнул» (стр. 47).

Описанные выше приметы относятся в общем-то к внешним элементам дамской повести как жанра. Глубинным ее признаком и конструирующим элементом оказывается снобизм — претензия персонажей (разумеется, положительных, с точки зрения автора) на некую исключительность, подчеркнутая пренебрежительность к людям другого, более «низкого» круга. Именно это, по-видимому, имеет в виду Н. Ильина, когда говорит о «специфике жанра». Особенно ярко проявляется этот снобизм в комментариях персонажей и автора повести по поводу различных случаев языкового употребления.

Интерес И. Грековой к собственно

языковой форме (в ее «культурно-речевом» проявлении) заметен по многим ее прежним рассказам — «За проходной», «Лето в городе» и, особенно, по «Дамскому мастеру». Но если в прежних своих произведениях писательница обращается к «языковой критике» от случая к случаю, то в повести «На испытаниях» перед нами настоящее нагнетение фактов такой «критики». Факты эти распадаются на ряд коллекций. Первую из них составляют надписи и объявления — образцы канцелярского стиля или просто нелепые безграмотности.

Введение их автором в текст различно. Поводом для этого может служить, например, смешно звучащая в устной речи официально-книжная фраза. «— Недопустимый пережат содержимого», — произносит в начале повести наблюдающий за погрузкой Теткин. Эта реплика вызывает немедленную сентенцию подполковника Чехардина: «— Фу ты, как пышно... „Пережат содержимого“! Замечали, как любит казенщина обрастать цветами красноречия? Современный церковнославянский язык! На днях еду по улице и читаю (..) надпись: „Объезд разрытий“! Каково громыхание? Истинный перл канцелярской поэзии!» (стр. 15).

В других случаях автор ограничивается непосредственным введением в повествование текстов, банально неграмотных, а потому и не требующих особых рассуждений. Надписи в столовой для военнослужащих: «Зал № 2. Пользование кроме старших офицеров воспрещается». Там же: «Предотвратим залет мухи!» (стр. 30). Объявление от руки на дверях магазина райпотребсоюза: «16-го и 17-го июля в магазине будут выдаваться дефецитные товары в обмен на здачу яйца гражданами» (стр. 71).

В самом же магазине продается карамель «воетбол»...

В эту же коллекцию входят записи «Книги жалоб» упомянутой выше столовой: «Товарищ подполковник, рассмотрев вашу жалобу, факты не подтвердились, ибо ваша грубость отвечалась взаимностью. Зав. столовой Щукина» (стр. 32).

В проблематику культуры устной речи читатель вводится с первых страниц повести. За рассуждениями Теткина о канцелярской церковно-славянщине следует разговор генерала Сиверса с пилотом Ночкиным, пытавшимся было отказаться взять на борт женщину-конструктора Лидию Ромнич: «— Кстати, усвойте, лейтенант Ночкин, поборник матриархата: говорить „извиняюсь“ невежливо. Это значит: „извиняю себя“, „снимаю с себя вину“. Люди воспитанные говорят: „извините“ или „извините, пожалуйста“, а по уставу: „виноват“. Поняли?

— Понял. Извиняюсь, товарищ генерал» (стр. 18).

Доверчивый читатель так же, как и Ночкин, должен принимать эти рассуждения на веру (генерал сказал!), а языковед с досадой и недоумением отметит живучесть ложного убеждения «воспитанных» людей в том, что говорить: „извиняюсь“ — невежливо.

Злополучное словечко «извиняюсь» с этого момента становится показателем малокультурной речи — людей с недостаточным образованием (не это ли подразумевает генерал под «воспитанием»?). Его употребляет дежурная гостиницы Зина («— Извиняюсь, товарищ генерал. У меня натура впечатлительная и переживающая», стр. 97), шофер гарнизона («— Извиняюсь, товарищ генерал. На десятую?», стр. 97), молодой военнослужащий Игорь Тюмен-

цев, тоже шофер («— Проститься зашел. Извиняюсь, товарищ майор»; стр. 105), местный майор Красинов («— Товарищ генерал, извиняюсь... не знал»; стр. 62). В отличие от них московский майор Скворцов, человек, по замыслу автора, блестящий и остроумный, употребляет совсем другие формулы этикета: «— Прошу извинения за беспокойство», — обращается он по телефону к генералу Сиверсу (стр. 96). А сам Сиверс в таких случаях говорит более изысканно: «— Прошу прощения, что разбудил» или «— Простите великодушно» (стр. 99).

Речевые ошибки и неправильности (индивидуальные и общераспространенные) щедро рассыпаны автором по тексту повести. Герои ее говорят: километров (стр. 99), магазин (стр. 71), блюда и супа (стр. 32), конхвета (стр. 72), нагишмя (стр. 79), триком (пол мою) (стр. 77). Летящие на испытания специалисты добродушно подшучивают над органически безграмотным Теткиным, который говорит «сашисечная» вместо «сосисочная», «частник» вместо «частик» («мелкий частник в банке», стр. 21) и отмахивается от вопроса, как пишется «парабола»: «— А ну вас к черту. Не обязан я вам тут кандидатский минимум сдавать...». Отрицательные (или просто неприятные) персонажи произносят «Муфистофель» и «бисиком» (жена Курганова, стр. 24), «боле-мене» и «ка-сказать» (как сказать), путают «именины» и «день рождения» (майор Тисячный), вкладывают в слово «проходимец» положительный смысл: тот, кто везде пройдет, умный человек (он же; стр. 65).

Носителями образцового литературного языка оказываются в повести два человека — генерал Сиверс и майор Скворцов.

Человек старшего поколения, «русский дворянин» (предки его жалованы императрицей Елизаветой), Сиверс «все-таки в гимназии учился», по собственным горделивым словам, и «восемь языков изучил, если не больше» и «все знает» (по словам о нем других персонажей). Действительно, генерал Сиверс знает если не все, то почти все.

Он разъясняет спутникам значенные слова «апокриф» (стр. 15), произносит перед ошеломленным пилотом Почкиным длинный текст по-немецки (стр. 18), попутно знакомит его с именами Давида Гильберта и Эмми Нётер (стр. 17), рассказывает Теткину о страховом обществе «Саламандра» (стр. 46), цитирует Тредьяковского (стр. 15), Державина (стр. 107), Гоголя (стр. 33), Пушкина (стр. 38) и Омара Хайяма (стр. 43), произносит фразы по-итальянски (стр. 35—36), по-французски (стр. 36), по-латыни (стр. 39) и по-церковнославянски (стр. 58—59), рассуждает о производстве и качествах коньяка (стр. 36), об умении его пить, чтобы лучше чувствовать букет (стр. 38), подробно рассказывает случайным слушателям историю русской военной формы (стр. 61), делится рецептами искусства спать на заседаниях (стр. 99) и другими полезными и ценными сведениями. Да, далековато до Сиверса жалким эрудитам мадам Вербицкой, с их Наполеонами, Бодлерами и Праксителями!

Интересно, что сама коллекция подобных разношерстных сведений в целом составляет некую — через всю повесть проходящую — викторину, на ход которой оказывает влияние все тот же снобизм. В ряде случаев читатель остается без ответа (Сиверс ушел, и никто не знает: «Спутник Марса, шесть букв, на конце „с“»,

стр. 47) или с полуответом, ловушкой (Шумаев не знает, откуда фраза об Александре Македонском и ломанных стульях; лейтенант Чашкин говорит, что из кинофильма «Чапаев»); «— Не совсем так,— поморщился Скворцов,— но по смыслу правильно», (стр. 56). Стыдно не знать этого,— говорят персонажи не только друг другу, но и читателям,— всем, кто хочет приобщиться к избранному кругу высокообразованных и всесторонне развитых людей.

Московский майор Скворцов уступает в общей образованности генералу Сиверсу, но не лишен столичного блеска и так же, как генерал, чуток к тонкостям языка и ошибкам речи. Приглашая Сиверса на вечеринку по случаю дня рождения Тысячного (назвавшего себя «именинником»), майор говорит: «Так вот, этот... человек завтра свои именины празднует — очевидно, Алексея, божьего человека, а возможно, рожденье, которое в просторечии тоже называется „именины“, и одержим желанием вас пригласить» (стр. 59).

Изысканность речи в равной мере характеризует Сиверса и Скворцова: «Не стоит благодарности» (стр. 18), «Честь имею кланяться» (стр. 47), «Увольте, батенька» (стр. 2),— говорит генерал в повести, а майор — тот даже думает изысканно: «Какая самодовлеющая женщина»,— думает он о Лиде Ромнич (стр. 18); «Отлично плывет, а все равно мне ничего не стоит ее догнать, ведь я мужчина, царь природы»,— думает он о себе (стр. 45).

Изысканность речи майора, правда, лишена тех элементов простоты, которые встречаются у генерала («приспнул», «намедни», «зас...цы!»), а его привычное самолюбование нередко отмечается собеседниками: «— Grimасы быта... Судя по состоя-

нию данного конкретного дерева, голова старшего техника-лейтенанта находится в угрожающем положении.

— Ну-ну,— сказала Лида.— А прощ говорить вы не можете?

— Если надо, могу,— смеясь, ответил Скворцов» (стр. 30).

Герои-избранники повести И. Греховой наперебой каламбурят («— Не проплешина, а переплешина», стр. 63), острят «для моциона языка» (стр. 47 и 52), рассуждают по поводу слов-жупелов «кибернетика», «анологет» и «молодчик» (стр. 88).

Происходит это на фоне речи «толпы»,— искусственно созданного «интеллигизированного просторечия», характеризующегося одинаковыми для разных лиц приемами стилистического смещения или гипертрофией признаков современной разговорной речи: «— Вы имеете в виду мою белокурую внешность?» (стр. 19); «— Моя фамилия только номинально грузинская» (стр. 21); «— А как там в области напитков?» (стр. 21); «— Судьба всей жизни. Надо отнестись ответственно» (стр. 78); «— А как там с условиями?» (стр. 19); «— Время бежит, условий никаких» (стр. 28); «— Дома я себе не позволяю, соблюдаю семейный очаг, а здесь — отчего нет? На серьезное нарушение не пойду, а так — потанцевать, посмеяться...» (стр. 29); «...— Хочу на телевизор скопить, чтобы дома была культура, а то, говорят, муж будет куда-то стремиться...» (стр. 28); «— Он (муж.— Л. С.) только еще успеет подумать в направлении, а я уже ревновать начинаю» (стр. 29); «— Лида не такая, чтобы позволить. Лида глубокая» (стр. 49); «— Вот у вас с Алексеем тоже двое детей, а разве он на это посмотрел? Наплевал и пошел по линии любви» (стр. 49); «— Намекал

вчера. прогуляемся, а сам вечером с Эльвирой в пойму пошел... Нет, видно, он с ней на серьезном уровне пошел» (стр. 66).

Но дело даже не в этом «интеллигизированном просторечии», которое целиком определяется языковым вкусом автора, а в снобистском отношении к нему и к элементам подлинного просторечия Сиверса и Скворцова. Снобизм здесь состоит в противопоставлении своего, «московского» словоупотребления — чужому или местному (и уже потому — нелепому). Он выражается в скрытой иронии майора, акцентирующего в ответных репликах чужую «неправильность» («— А как там в области напитков? — В этой области как раз неважно», стр. 21; «— „Беломор“ употребляете? — Очень даже употребляю», стр. 83) и в прямом комментировании местных слов и речевых «загибов». Слова «здесь», «здешний», «ваш» сопровождают эти комментарии и оценки: «— Что это за точки в воздухе? — Мошкá... — Мошкá? — Нет, по-здешнему именно мошкá. „Мошкá“ — это что-то невинное, безобидное. „Мошкá“ — это бедствие» (стр. 81); (Официантка): «— Блюдо́в нет, супа́ не в чего ложить». (Майор): «Делать нечего. Придется ждать, пока будут намыты эти блюда́ — так здесь называют глубокие тарелки» (стр. 32); ср. также в майорской прямой и несобственно-прямой речи: «— Если я правильно понял обстановку, вы еще не обедали. В дешней столовой время обедов кончилось, а время ужинов еще не началось» (стр. 29); «На боковых сиденьях разместились попутчики-офицеры: кругленький капитан..., вероятно, москвич (для дешнего полноват), и два других, без сомнения дешних...» (стр. 107).

Впрочем, в понятие «местный»

вкладывается иногда весьма расширительный и неопределенный смысл. Генерал Сиверс рассказывает, например, окружившим его местным офицерам: «— Читаю я наместни в аш у областную газету и что же вижу? На второй странице — большой заголовок: „Досрочно выполним первую заповедь!“ Я глазам не поверил. Я все-таки в гимназии учился и хоть имел по закону божьему четверку за вольнодумство, но первую заповедь помню: „Аз есмь господь бог твой...“ (...) И это самое нас призывают досрочно выполнить!

Офицеры засмеялись, но как-то недружно» (стр. 59).

Во-первых, «заповедь» в значении 'долг, обязанность' вовсе не местный неологизм (появился-то он в центральной прессе). Ну, а во-вторых, в 1952 году его еще не было, появился он годами десятью позднее. Так что перед нами явный анахронизм; стремление И. Грековой к точной хронологизации крепко ее подвело.

Речевой снобизм персонажей повести сопровождается снобизмом в их поведении. Подойдя к очереди у лихарецкого магазина «Хлеб», майор Скворцов «демократически» здоровается и заговаривает с «народом»:

«— Здравствуйте. Хлеба ждете? А где же Любовь Ивановна?

...— Любовь Ивановну еще зимой съняли.

— За что?

— Говорят, за употребление.

— Вот оно что! А кто же теперь хлебом торгует?

— Катька с Троицкого.

— Ну, и как она? Не употребляет?

— Нам что? Нам без разницы.

— Где ж она сейчас, эта Катька? Хочу познакомиться.

— Кто ее знает? Может, на базу ушла, а может, еще куда. Магазин с утра под замком» (стр. 71).

Отходя от очереди в сторонку со своей спутницей, майор мгновенно меняет демократизм на снобизм:

«— Самое скверное,— сказал Скворцов, отойдя на приличное расстояние (разрядка моя.—Л. С.),— это полное равнодушие к нарушению законности. „Магазин“ с утра под замком — и никого это не возмущает».

Почти такая же сцена повторяется в соседнем магазине «Лихрайпотребсоюза». Майор вежливо (с присущей ему скрытой издевкой) разговаривает с продавщицей, а затем долго ходит по магазину с Лидией Ромнич и острит по поводу выставленных товаров, пока не наткнется на карамель под названием «воетбол». Тут он повышает голос (хотя и говорил до этого довольно громко):

«— Послушайте, любезная дама, что такое „воетбол“?»

— Как что? Конхвета,— с достоинством ответила продавщица.

— Может быть „волейбол“?

— А там и написано „воетбол“. Небось грамотные» (стр. 72). Ромнич не выдерживает и обрывает майора на полуслове:

«— Хватит, идемте.

Они вышли.

— Что-нибудь опять не так?

— Нет... Просто мне показалось, что вы очень уж на все это смотрите... свысока, что ли... Причем с городского „высока“, не знаю, понятно ли?.. Ведь московская прописка — не заслуга...»

Лидия Ромнич не находит названия поведению своего спутника, которое даем ему мы — снобизм.

В повести «На испытаниях» в нескольких местах есть упоминания или рассуждения по поводу некоторых исконно русских обычаев: «Генерал Сиверс обнял Тысячного и троекратно, по-русски, облобызал»

(стр. 60). Майор Скворцов смотрит на пляску офицерской жены, «очарованный каким-то сложным чувством, очень ощущая себя русским» (стр. 26). Когда же пьяный и счастливый «именинник» — Тысячный лезет с дружескими поцелуями к майору, тот думает с отвращением:

«— Что это их всех несет целоваться? Никогда не было на Руси такого обычая: в губы целоваться, да еще врасос. Это теперь его выдумали» (стр. 65).

Так вот, перефразируя эти слова, мы скажем: никогда не было на Руси такого обычая — русскому интеллигенту с высокомерной издевкой относиться к народному языку, «неправильному» просторечию. Это теперь его выдумали. Авторы дамских повестей.

Оценки «неправильностей» в равной мере характеризуют и авторскую речь и речь персонажей. Больше того, вводятся они в текст с помощью одного и того же нехитрого приема — оборота «так называемый»:

«— Один раз у нас ветром галльюн несло, так называемый туалет» (стр. 20), — в речи персонажа; «Строение было барачного типа, хотя и большое; так называемые „удобства“ — на улице» (стр. 27); «Он (Тысячный. — Л. С.)... сел за свой рабочий, так называемый письменный стол, отпер ящик и вынул папку» (стр. 66); «Один из таких рукавов... облюбовали приезжие — „командировочные“ — для купанья» (стр. 44) — в авторской речи. В последнем примере кавычки и тире выполняют функцию вводного оборота «так называемые».

Муки слова! Невозможность передать словами чувства, переполняющие душу... — Как знакомо это персонажам грековской повести! «Что

слова?.. Что можно ими передать, кроме самой элементарной информации?» — восклицает подполковник Чехардин (стр. 20). Именно этим, очевидно, объясняется стремление героев к точности и недвусмысленности речи, требование языковой четкости от других:

«— Товарищ генерал, майор Прихин по вашему приказанию явился.

— Являются привидения, товарищ майор.

— Винават. Товарищ генерал, майор Прихин по вашему приказанию прибыл» (стр. 92).

Конечно, уставный стиль — не идеал, к тому же сфера его применения слишком узкая. А потому персонажи и автор обращаются в своей речи к точности научной, математической.

Речь персонажей: «— Кстати, неудачи Теткина в любви надо на восемьдесят процентов отнести за счет плодоягодного» (стр. 21); «— Судя по заметному углу, который составляет с вертикалью продольная ось твоего тела, напитки... тебе подавались» (стр. 72).

Авторская речь: «Шел он необычайно брыкливо и держался не перпендикулярно к земной поверхности, а косо...» (стр. 72).

Вершиной этого математического пуризма является разговор Лиды Ромнич с майором по поводу одного его выражения:

«— Сегодня вы сказали „пятьдесят на солнце“. Никогда больше так не говорите. Ведь термометр на солнце показывает вовсе не температуру воздуха, а...

—...свою собственную температуру..., а он накален солнцем, конвекция, лучеиспускание и т. д. и т. п. Все знаю. Это я так сказал, для красного словца» (стр. 67).

Продолжая подобные рассуждения, можно было бы прийти к удивительным выводам и сказать, например, Теткину, с уст которого сорвалось: «Солнце опускается...» (стр. 49), — никогда больше так не говорите. Ведь это земля поворачивается вокруг своей оси, а не солнце опускается или поднимается. Или предупредить автора: плоховато вы сказали на стр. 63 — «Луна светила ярким, белым, великолепным светом». Надо бы: «Луна отсвечивала ярким светом», а не «светила»...

Но шутки шутками, а научный (или логический) языковой пуризм (вытекающий в конечном счете из снобизма) следует, по-видимому, признать существенной чертой дамской повести на нынешнем этапе ее развития.

И что в конце концов забавно. Ведь читается-то повесть И. Грековой с большим интересом. Есть в ней

живые сцены, диалоги и пейзажи. И лишь прочитав все до конца, с удивлением спрашиваешь себя: о чем это? зачем это? и как же так?

На общем возросшем профессиональном уровне трудно стало отличить произведение среднее от выдающегося, и не всегда бывает ясно, в чем же состоит глубинная «средность» средней литературы. Попытку внести некоторую ясность в этот вопрос мы и предприняли.

Остается добавить только, что дамская повесть «На испытаниях» опубликована в «Новом мире» (№ 7 за 1967 год), том самом «Новом мире», который несколькими годами раньше так блистательно и зло высмеял на своих страницах современных продолжателей этого поистине бесмертного жанра.

Кандидат филологических наук
Л. И. СКВОРЦОВ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗРЕЧЕНИЯ

К наиболее известным крылатым выражениям принадлежит латинское изречение «Caesar non supra grammaticos» (в вольном переводе: «Даже император бессилен в вопросах языка»).

В комедии «Ученые женщины» Мольера встречается фраза: «Грамматика владеет даже королями». Кто же первый высказал эту мысль?

«Отец крылатых слов» Георг Бюхман (если не считать им Гомера) приписывает это архиепископу Плацентину, жившему в XV веке. Он якобы упрекнул этими словами императора Сигизмунда на собрании церковников в Костнице, когда тот слово женского рода (схизма) употребил как мужское.

Однако это неверно. Римский историк Светоний в трактате «О знаменитых грамматистах» рассказывает: в одной из своих речей император Тиберий, считающий свой стиль безупречным, применил неправильное выражение. После речи он созвал всех своих друзей и спросил их, считают ли они, что он, император, совершил языковую ошибку. Тогда Атей Капитон, большой льстец, сказал: «О Цезарь, если это даже была ошибка, то после того, как ты сказал, это уже перестало быть ошибкой».

«Нет, Цезарь, — решительно заметил мужественный Маркелий, — ты можешь давать право гражданства людям, но отнюдь не словам».

Т. Д. АУЗРБАХ



«Язык родных осин»

Известна эпиграмма И. С. Тургенева:

Вот еще светило мира!
Кетчер, друг шипучих вин;
Перепёр он нам Шекспира
На язык родных осин.

Николай Христофорович Кетчер (1809—1886) — московский медик и переводчик, один из деятельнейших участников общественно-литературной жизни 40-х годов XIX века, близкий друг Герцена и Огарева, Белинского и Станкевича, Тургенева и Боткина — в 1840 году, поощряемый Белинским, принялся за перевод прозой всех драматических произведений Шекспира. Полного перевода Шекспира до тех пор в России не существовало. С 1841 по 1850 год Кетчер выпустил в виде брошюр 18 пьес, но вынужден был приостановить издание, по всей вероятности, из-за цензурных препятствий. В 1862 году он снова предпринял издание и до 1879 года в его переводе вышли все 37 пьес Шекспира в девяти томах. Перевод Н. Х. Кетчера, основанный на тщательном изучении шекспировского текста и многочисленных его толкований, отличается большой точностью. Однако переданный тяжеловесной прозой, избыточной буквализмами, шекспировский стих во многом утрачивает свою поэтическую энергию, лирические монологи становятся вялыми и неуклюжими, афористичные рифмованные концовки — плоскими и невыразительными.

Эти недостатки и имел в виду Тургенев, подчеркнувший глаголом *перепёр* тяжеловесность кетчеровских переводов. Впоследствии этот глагол был обыгран поэтом Б. Н. Алмазовым в сатирической поэме «Учено-литературный маскарад», где Кетчер, представляющийся публике как «вдохновеннейший толмач» всех шекспировских творений заявляет:

Но про меня в забаву мира
Сказал какой-то щелкопер,
Что будто я «всего Шекспира
Не перевел, а перепёр».

Эпиграмма И. С. Тургенева, по-видимому, сочиненная в начале 50-х годов, получила довольно широкое распространение, о чем свидетельствуют не-

однократные упоминания о ней мемуаристов. А выражение «язык родных осин» вскоре стало крылатым. Удалось обнаружить его использование уже в 1861 году, правда, еще со ссылкой на эпиграмму. В одной критической статье говорилось по поводу французского классицизма: «Мы сначала приняли его слепо и переводили его или скорее п е р е п и р а л и..., на родной язык осин», по выражению одной эпиграммы, относящейся, впрочем, к переводам Шекспира» («Время», 1861, № 3, отд. II, стр. 51).

Позднее выражение существовало самостоятельно, независимо от эпиграммы. Н. С. и М. Г. Ашукины, составители сборника крылатых выражений, отметили употребление его в 1935 и 1938 годах. Однако толкование, которое они ему дали, явно недостаточно. По их утверждению, слова «язык родных осин» употребляются «иронически по поводу топорных переводов с иностранных языков на русский» (Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Изд. 3-е, доп. М., 1966, стр. 769). Между тем даже из приведенных ими примеров видно, что в настоящее время выражение прилагается и к так называемому «склонению на русские нравы» («Истории благороднейших виконтов и ослепительной красоты куртизанок могли быть легко переводимы в воображении читателей на „язык родных осин“ российского быта» — И. Груздев. Горький и его время. т. I. Л., 1938, стр. 34).

Какой же смысл вкладывал в это выражение сам Тургенев? Почему ему понадобилось слово *осина*? Вряд ли он имел в виду русификацию шекспировских пьес: этот недостаток не присущ переводам Кетчера; русизмы здесь сравнительно редки и не характерны. /Скорее всего, Тургенев, восторженный поклонник Шекспира, считал, что тяжелый и неуклюжий перевод, лишенный стиховой формы, теряет яркость и поэтичность оригинала, становится безрадостным и унылым.

В русском фольклоре *осина* часто фигурирует с эпитетом *Сорькая* — из-за характерного вкуса, свойственного осиновому соку и коре.

Уж я старого в уста целовала,
Будто горькой осины испивала, —

поет несчастная молодая жена. Ср. в песне И. З. Сурикова:

Что полынь ты трава,
Горькая осинка!

Но иногда прямое значение заслоняется переносным — «горестный». «Осина везде соединяется с горем», — констатировал Я. А. Автамонов, исследователь фольклорной символики растений.

Совыкались мы с тобою под белой березою;
Расставались мы с тобою под горькой осиной, —

поется в песне.

В хозяйственном отношении осина считалась никчемным деревом, не годным на поделки, скверным топливом и негодным строительным материалом. Изба, сложенная из осиновых бревен, наводила на мысль о нищете, что было хорошо известно Тургеневу, который писал в «Хоре и Калиныче» (1847): «Орловский мужик... живет в дрянных осиновых избенках, ходит на баршину... ест плохо, носит лапти...».

Наконец, осина — сорное дерево, характерное для русских некультивированных лесов, вырастающее на вырубках и на месте погибших деревьев. «...На

„заказных“... пустырях,— отмечал Тургенев в рассказе „Смерть“ (1848),— вместо прежних благородных деревьев сами собою вырастают березы да осины; а иначе разводить роши у нас не умеют». Неудивительно, что у поэтов, современников Тургенева, осина связывалась с тоскливым, безрадостным и в то же время родным и близким пейзажем.

Лес ли начнется — сосна да осина...

Не весела ты,— родная картина! —

воскликает Н. А. Некрасов в «Саше» (1855).

Белые березы, жидкие осины,

Пашни да овраги — грустные картины! —

вторит ему А. Н. Плещеев («Отдохну-ка, сяду у лесной опушки!», 1861).

И сам Тургенев писал в «Свидании» (1850): «Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево — осину — с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металлической листвою, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев неловко прицепленных к длинным стебелькам». А в «Касьяне с Красивой мечи» (1851) — «недавно срубленные осины печально тянулись по земле». Вероятно, не случайно Тургенев сделал одинокую осину излюбленным деревом Базарова-ребенка («Отцы и дети»); писатель хотел подчеркнуть, что с самого детства его герой был чужд поэзии.

Но, может быть, употребив слово *осина*, Тургенев имел в виду и фигуральное его значение, которое, хотя и не зафиксировано в словарях, однако может быть выявлено на основании словоупотребления того времени. Этому слову придавался бранный, презрительный смысл, примерно тот же, что и *дубине*.

В поэме А. А. Фета «Две липки» (1857), посвященной Тургеневу, помещик бранит садовника, неисправно выполнившего его приказание:

Ведь я тебе, безмозглая осина,

Довольно ясно, кажется, твердил...

А у А. Н. Островского в «Талантах и поклонниках» (1882) Нароков, мощный режиссера, жалуется на антрепренера: «Дерево он у нас, дерево, дуб, осина». Бранное выражение «осина неотесанная» было отмечено в диалектах Тульской губернии. Наконец, презрительный оттенок слово *осина* имеет в поговорке: «С осину вырос, а ума не вынес». Ср. в комедии А. Ф. Писемского «Ипохондрик» (1852): «Видишь, как вытянуло. Поумнел ли хоть немного, а растешь, глядя на осину».

Имея в виду бранное значение слова, Д. И. Писарев в статье «Популяризаторы отрицательных доктрин» (1866) применил его в форме эпитета: «Чтобы иметь какое-нибудь серьезное значение, пропаганда Вольтера должна была адресоваться... ко всему читающему обществу, ко всему грамотному стаду, ко всевозможным дубовым и осиновым головам...».

Двумя годами раньше в сатирическом листке русских студентов в Гейдельберге «A tout venant je sçache, или Бог не выдаст — свинья не съест» (этот листок Тургенев впоследствии упомянул в «Дыме», гл. XXVI) была помещена пародия на песню «Ах вы сени...», содержащая такие строки:

Ах вы дети, мои дети,
Дети милые мои,
Лбы кленовые, дубовые,
Осиновые!

Не подозревал ли Тургенев, говоря о «родных осинах», всякого рода гулиц и неведж с их грубым, неуклюжим языком? Он, конечно, не мог сказать: «язык родных дубов», хотя слова *дуб*, *дубовый*, как мы видели, употребляются в бранном смысле так же, как *осина*, *осиновый*. Но дуб еще и символ величия и силы, в то время как эмоции, вызываемые осиною, — уныние и презрение. Кстати сказать, эпитет *осиновые* по отношению к тяжелым, непоэтичным стихам применил Белинский еще в 1840 году в рецензии на историческую драму Р. М. Зотова «Донна Луиза, инфанта португальская» (наряду с эпитетами скрипучие, сермяжные, еловые, свинцовые).

Кандидат филологических наук
Ю. Д. ЛЕВИН

Р Е П Л И К А

«В эмпиреях»

Читатель нашего журнала П. В. Подольский из Краснодара обращает внимание на целый ряд языковых несуразностей в памфлете Николая Полянова «Портрет ожившей ассигнации», опубликованном в иллюстрированном обозрении «Неделя» (1967, № 25).

Бросается в глаза прежде всего словечко *эмпирии*, употребленное в таком контексте: «Говорят, в финансовых эмпиреях Западной Европы ныне нет более влиятельной личности, чем Абс» (речь идет о президенте западногерманского «Дойче банка» Германе Абсе). В самом деле, что такое *эмпирия*? Философский термин *эмпирия* «человеческий опыт, наблюдение в естественных условиях» сюда явно не подходит, *империи* — тем более, да и подобная опечатка маловероятна. Скорее всего, автор хотел использовать слово *эмпирей*, употребляющееся обычно только в форме множественного числа (форма единственного числа *эмпирей* давно устарела) с оттенком иронии и обозначающее, действительно, какие-то сферы, области. Но вот какие сферы? Беда в том, что значение этого слова — «область блаженства, мечтательности, далекая от земного существования» (вспомним, хотя бы *эмпиреи* в гоголевском «Ре-

визоре»: «Жизнь моя, милый друг, течет, — говорит, — в эмпиреях»... и т. д.). Причем же здесь финансовая жизнь Западной Европы?

Нельзя не признать, что употреблено здесь иностранное слово без надобности, без знания его точного смысла и звучания.

Памфлет Н. Полянова вообще изобилует метафорами. Но изрядная доля этих метафор грешит против здравого смысла. Можно ли сказать, например, так: «Конечно, не один Абс аранжировал эту чудовищную какофонию войны»? Здесь опять нагромождение иностранных терминов, употребленных вольно и не удачно.

В другом месте автор, нимало не смущаясь, упоминает «лицо громовержца (!) в те дни, когда он метал бесшумные (!) молнии в сторону неудачника».

Заметив, что «небезынтересно пролистать календарь (очевидно, биографию. — *Ред.*) Абса в обратном направлении», Н. Полянов рассматривает затем события его жизни с самого начала, с ранней молодости и до современности. Остается только недоумевать, почему же автор назвал это «обратным направлением».

Вывод ясен. Нужный и злободневный политический памфлет испорчен языковой небрежностью.

Пожелаем Николаю Полянову, а с ним и редакции «Недели» осторожнее и аккуратнее обращаться с русским языком. Это очень тонкий и совершенный инструмент, достаточно выразительный и без таких, с позволения сказать, «аранжировок».

В. Л.

ЯЗЫК СОВЕТСКОГО ЗАКОНА

(Исторические заметки)

Кандидат юридических наук
А. А. УШАКОВ

Язык законов — это официальный язык государственной власти. Он зависит от классового существа самой власти, от того, насколько власть связана с народом. С полным основанием можно утверждать, что с уничтожением царского и появлением советского законодательства началась новая эпоха не только в истории права, но и в истории законодательного языка.

Языку первых советских законов совершенно чужд сухой властный приказ и голый императив царского законодательства. Все наносное, сознательно культивируемое в чиновничьей среде старой России, все крючкотворство, которое, по точному выражению Салтыкова-Щедрина, связывалось с писанием «объяснец с приплитенцами», стало изгоняться из деловой переписки (см.: А. И. Ефимов. История русского литературного языка. М., 1961).

Буквально первые дни существования Советской власти показали, что она глубоко заинтересована в знании законов всеми. Уничтожение старого общественного и государственного строя сопровождалось отмиранием в языке большого количества слов и выражений. Этот процесс протекал и в законодательном языке: естествен-

но перестали употребляться наименования старых должностных лиц (например: сенатор, губернатор, полицейский и др.), ушли слова, обозначавшие несуществующие теперь общественные связи и учреждения (харчевня, присутствие, инородец и др.). Канула в Лету и знаменитая присказка старорежимного закона: «Божьей милостью, Мы Николай II, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский, и прочая, прочая».

В законодательной лексике появилось много новых слов, которые входили в язык закона по мере развития страны и ее хозяйства. В советское время большое распространение получили новые устойчивые словосочетания, например: советский суд, исправительные работы. Среди новых слов много сложносокращенных: РСФСР, СССР, НЭП, ЦК, профсоюз и др. Советский законодатель, переосмыслив, стал использовать и многие старые слова и словосочетания (истец, прокурор, суд, кассация, закон, преступление, возбудить дело, привлечь к ответственности и т. д.), а слово «совет», став символом всей новой системы, приобрело международное значение. Некоторые вышедшие из употребления слова, восходящие к терминологии и лексике Французской революции или Парижской Коммуны (комиссар, декрет и др.) обрели в советском законодательстве новую жизнь. Многие взято из языка передовых и прежде всего большевистских деятелей дореволюционного периода.

Важнейшей задачей в области синтаксиса языка законов стала борьба за его простоту, хотя на практике это иногда выливалось в объяснимое для того времени некоторое упрощение. Язык советского права освобождался от излишних длиннот, устарелых церковнославянских и немецких синтаксических конструкций. Все эти, равно как и другие, изменения сближали его с языком народа.

Огромная заслуга в успешной борьбе за простоту и ясность советского закона принадлежит В. И. Ленину, который стоял во главе всей законодательной деятельности Советского государства. Под его руководством были созданы важнейшие

законодательные акты, многие из них Владимир Ильич написал сам. Отражая жизнь Советской эпохи, они были точны, понятны и доступны каждому. Знаменитые ленинские слова декрета «О Земле»: «Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа» — понимали трудящиеся всего мира.

Но особенно рельефно черты советского законодательного стиля проявились в новой кодификации, также проходившей под непосредственным руководством В. И. Ленина. Кодификация советского права началась еще в 1918 году. Но по-настоящему она развернулась после перехода страны к НЭПУ. Именно в советских кодексах (Конституция РСФСР 1918 года, Уголовный кодекс РСФСР 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, Земельный кодекс РСФСР 1922 года и др.) наиболее последовательно отразилась советская языковая законодательная политика, сказавшаяся новая языковая законодательная культура.

Здесь нельзя не учитывать огромную роль здравого смысла, таланта, искусства первых советских деятелей в законодательстве: Я. М. Свердлов, М. И. Калинина, П. И. Стучки, Д. И. Курского, Н. В. Крыленко, А. Г. Гойхбарга и других, не учитывать и ту благотворную созидающую обстановку, которая была создана Великой Октябрьской социалистической революцией.

Однако, хотя язык первых советских законов в целом был точен и доступен советскому народу, не следует делать вывода о языковом совершенстве всего советского законодательства. Об этом предупреждал еще В. И. Ленин (см.: Полное собрание сочинений. Т. 45, стр. 247—248). В некоторых актах встречались формулировки неточные или громоздкие, запутанные, с усложненным синтаксисом.

Необходимо указать на чисто объективные трудности, с которыми сталкивается юрист при формулировании и кодификации закона. Ведь статьи уголовного кодекса отражают жизненные ситуации зачастую столь сложные, что о них невозможно сказать облегченно-просто. Жизнь разбивается и усложняется, юристам тоже приходится делать добавления к

уже готовым статьям закона. Это еще один источник объективной сложности. И критерий точности языка законов соотносим с этой объективной сложностью. «Язык законов,— пишет академик Л. В. Щерба,— требует прежде всего точности и невозможности каких-либо кривотолков; быстрота понимания не является уже в таком смысле исключительно важной, так как заинтересованный человек безо всякого поноукания прочтет всякую статью закона и два и три раза» (см.: «Избранные работы по русскому языку». М., 1957, стр. 119). Однако многие языковые недочеты советского закона имели чисто субъективные (здесь мы употребляем это слово в смысле «устраняемые») причины: отсутствие в достаточном количестве опытных работников, весьма сильное влияние традиции, обусловленное еще и тем, что к работе по составлению свода советских законов были привлечены старые специалисты, сказались здесь и некоторые ошибочные взгляды, связанные с трактовкой советского права как «права меновой концепции, замыкающегося в узких горизонтах буржуазного права», по теории Пашцканиса. И вот появляются печальные шедевры такого рода: «Констатировать, что наряду с выполнением установленной ЦИК и СНК СССР нормы увеличения ассигнований на обеспечение инвалидов войны по РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, при проведении в жизнь декретов о расширении контингентов, получающих пенсию инвалидов, их семей, лиц погибших на войне, в ряде районов были допущены значительные дефекты, ослабляющие эффективность мероприятий» (Постановление коллегии Народного Комиссариата РКИ.— «Известия», 31 марта 1929). Здесь приведена только часть фразы, занимающей сорок четыре газетные строки. Сколько надо затратить усилий, чтобы разобраться в ней, пересыпанной «дефектами», «контингентами», «эффективностью» и т. д.

Недостатки языка были не только в отдельных фрагментарных актах, но и в кодексах. Взять, например, 109 статью Уголовного кодекса РСФСР 1926 года. Как много кривотолков, недоразумений вызывала она на практике! И все оттого, что

сформулирована явно неудачно: разные мысли искусственно втиснуты в одно предложение. Даже Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, один из лучших кодексов тех лет, в отношении языка был далеко не идеален: встречаются архаизмы, варваризмы, нет иногда достаточной четкости и ясности в выражении основных идей и принципов. Так, одна из ведущих статей (1ГК) изложена туманно. Она стала бы более действенной, если бы законодатель сказал, что гражданские права охраняются законом, кроме тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с интересами социалистического хозяйства, а не в противоречии «с их социальнохозяйственным назначением», как это сказано там.

К числу недостатков языка советских кодексов тех лет следует отнести и довольно абстрактный характер некоторых из них, вследствие чего они стали обрастать всевозможными инструкциями. Так, сам Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года имеет 192 статьи, а инструкции к нему составили к январю 1926 года несколько томов. КЗОТ растворился в этих инструкциях. Не всегда была удачна и терминология: в статьях 7, 26, 30 и других Уголовного кодекса РСФСР 1926 года вместо «наказание» употребляется термин «мера социальной защиты». В статье 367 Гражданского кодекса РСФСР 1922 года, определяющей договор страхования, слово «премия» употребляется в смысле страхового взноса и т. д. В некоторых статьях Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1922 года отсутствует терминологическая выдержанность. Например, под словом «доказательство» понимается и процесс доказывания (статья 302), и результат доказывания (статья 319), и средство доказывания (статьи 57, 58). Нередко можно было наблюдать старые синтаксические конструкции со сказуемым в конце предложения: «Заключение брака происходит в определенные дни и часы, заранее устанавливаемые и объявляемые должностным лицом, коему совершение браков вверено» (статья 57 Семейного кодекса РСФСР 1918 года). Особенно много было языковых погрешностей в местных нормативных актах.

Все эти недостатки в языке совет-

ских законов не могли остаться незамеченными. В. И. Ленин неоднократно указывал на необходимость неустанной борьбы за языковую законодательную культуру, не раз подчеркивал, что неудачно употребленное слово, неправильная расстановка знаков препинания и т. д., запутывают мысль. Ленин боролся за чистоту русского языка, призывал объявить войну коверканью и засорению его иностранными словами.

Решительно выступал Владимир Ильич против ненужных, нелепых сокращений: «На каком языке это написано,— говорил он о таких словах.— Тарабарщина какая-то, волапоук, а не язык Толстого и Тургенева» (В. Д. Бонч-Бруевич. Как работал Владимир Ильич. Из воспоминаний.— «Читатель и писатель», 1928, № 2). В. И. Ленин не только указывал на недостатки в языке законов, но сам лично исправлял их. В письме для Малого Совнаркома 27 августа 1921 года В. И. Ленин писал: «Препровождая резолюцию президиума Московского Совдепа, прошу и председателя и всех членов Малого Совнаркома, особенно тов. Гойхбарга как юриста, обратить сугубое внимание на необходимость более осторожной, тщательной и обдуманной подготовки текста декретов.

Бесконечные поправки нетерпимы» (Полное собрание сочинений. Т. 53, стр. 143).

Вопросы улучшения языка советских законов были в центре внимания ряда законодательных актов, и в частности специального постановления СНК СССР от 9 октября 1928 года, в котором ведомствам было предложено не допускать расплывчатых формулировок, не вносить предложений, которые только повторяют или перефразируют уже действующие законы, добиться изложения проектов в ясной и популярной форме.

Борьба за речевую культуру советского законодательства захватила и печать. В 1925 году «Правда» выступила с критическими замечаниями по адресу тех, кто мало думает о людях, для которых пишутся официальные документы. На страницах юридических журналов «Власть Советов», «Советское строительство»,

«Советская юстиция» и других раз-вернулась оживленная дискуссия.

В 1929 году было проведено социологическое обследование, посвященное тому, насколько понятен народным массам язык советских законов. Хотя это обследование и не было широким, оно тем не менее принесло определенные результаты. При секретариате ЦИК СССР была образована специальная комиссия по улучшению языка юридических документов, в которую вошли и представители Института литературы и языка АН СССР («Советское строительство», 1931, № 4).

Точность и доступность — эти характерные особенности языка советских законов, проявившиеся еще во время перехода от капитализма к социализму, получают всестороннее развитие в период социализма. Одновременно происходит обогащение лексики: переосмыслиются старые законодательные термины (министр, министерство и др.). С победой социализма выходят из активного употребления слова, отражавшие наличие эксплуататорских элементов (нэпман, кулак и др.). Культурная революция, совершившаяся за годы народной власти, освободила советское законодательство от известных массовых упрощений (например, в области синтаксиса).

Современное состояние советского права характеризуется усилением законодательной деятельности, что связано с окончательной победой социализма, с превращением советского пролетарского права в общенародное. Уже издан ряд крупных законодательных актов. Видные юристы, такие, как профессор И. Л. Брауде, профессор Д. А. Керимов, Е. А. Прянишников, отмечают высокое качество языка этих законов. Такого же мнения придерживаются и многие зарубежные специалисты.

Однако все это не значит, что проблема языка советских законов уже полностью решена. Язык советских законов последних лет тоже не лишен недостатков. Возьмем, например, фрагмент статьи 166 Уголовного кодекса 1960 года, устанавливающей уголовную ответственность за незаконную охоту: «...Охота на зверей и птиц, охотиться на которых

полностью запрещено, или незаконная охота, причинившая крупный ущерб...». В словарный фонд русского языка прочно вошел термин «браконьерство». Законодатель почему-то не воспользовался им, хотя здесь это весьма уместно.

Нельзя не отметить и тавтологию: «Охота..., охотиться..., незаконная охота...!» В названии статьи 164 Уголовного кодекса РСФСР: «Производство промыслов морских котиков...» слово «производство», на наш взгляд, совершенно излишне, так как сам промысел есть уже производство. А вот еще один казус: «Незаконный обыск, незаконное выселение или незаконные действия, нарушающие неприкосновенность граждан,— наказываются лишением свободы на срок до одного года» (статья 138 Уголовного кодекса РСФСР). Но ведь наказываются люди, а не действия!

К слову, в такой безупречной редакции даны почти все статьи основной части Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. Конечно, по смыслу статей можно догадаться, о чем идет речь, но их словесная форма все же находится в противоречии с нормами русского языка. Самый главный недостаток здесь в том, что такая редакция открывает доступ для недопустимых в законодательстве двусмысленностей. Не следует ли предпочсть форме «наказывается», несомненно, более строгую, более точную форму: «Винновое лицо подлежит наказанию»?

Коренные изменения в экономике и классовой структуре, расцвет социалистической демократии, культуры, науки и, в частности, успехи лингвистики, юриспруденции, большой законодательный опыт, который приобрело советское правотворчество, наличие юридических и лингвистических кадров, использование законодательного опыта других стран — все это позволяет еще более повысить языковую культуру советского закона.

Думается, было бы полезно и важно, если бы на страницах «Русской речи» выступили юристы, языковеды, преподаватели специальных учебных заведений — словом все, кто так или иначе связан с советским правовым строительством.

Заметки редактора научной медицинской литературы

Доктор медицинских наук
П. П. КОЖЕВНИКОВ

Язык медицинских изданий, как и вообще язык любой отрасли научной литературы, имеет свои закономерности. Можно найти закономерность и в языковых ошибках, встречающихся в медицинских научных журналах, монографиях, брошюрах и т. д. Этому и посвящена наша статья. Материал частью взят из печатных работ, а главным образом, из просмотренных нами разного рода рукописей (диссертаций, статей, книг).

Медицинское аргю. Сюда относятся многие бытующие в кругу медицинских работников слова и «словечки»: болтушка (взбалтываемая микстура), зеленка, касторка, карболка, крупозка (крупозное воспаление легких), грудники (младенцы, кормящиеся грудью), шумок (шум сердца), рачок (рак), стригун (больной стригущим лишаем) и т. д. В язык проникают и жаргонные выражения: «Началась температура» (как будто раньше человек был без температуры), «делать уколы» (выпрыскивания) и т. д. Некоторые такие слова и выражения прочно закрепляются в языке. Например, странное, на первый взгляд, выражение *острый живот* (острое воспаление брюшины) в настоящее время вошло в принятый медицинский язык как удачное, хотя и условное понятие.

Вульгаризмы. В разговорную речь медицинских работников и реже — в печатные издания проникают различные вульгарные слова, например: простыть, прыщи, плешь, помусолить, раздирать (кожу), врачаха и другие. Опытному редактору их легко устранить.

Варваризмы в медицинском языке встречаются очень часто. Это результат быстрого роста науки и постоянного обмена информацией между иностранными и советскими медиками. Огромное количество медицинских терминов (названий медикаментов, аппаратов, болезней) давно «обрусело»: экзема, канцер, нефрит, артрит, туберкулин, сальварсан, валидол, пенициллин, пшприц, катетер, скальпель. Однако много слов, особенно обозначающих редкие болезни, препараты, приборы, долгое время могут оставаться чуждыми нормам русского языка.

Варваризмами надо считать иностранные слова, у которых в самой терминологической системе есть точные русские соответствия: экзацербация (обострение), ургентный (срочный), рарефикация (разрежение) и многие другие.

Последние десять лет широко распространилась бессмысленная калька *метод выбора*. Это выражение вошло как подражание американскому *method of choice* для обозначения лучшего метода лечения.

Нередко в медицинской литературе встречается «смесь» из разных языков. Иногда, сохраняя иностранную транскрипцию слова, прибавляют рус-

ское окончание. Получаются весьма неудачные сочетания, например, *аксиллярная линия* (можно было написать: подмышечная линия).

Некоторые авторы смешивают разные языки, создавая явно неудачные слова-гибриды: межскапулярный, постродовый период — было бы гораздо правильнее использовать чисто русские названия: *межлопаточный, послеродовый период*. К сожалению, неправильные слова и сочетания удерживаются годами, как это случилось с упомянутым выше *методом выбора* или римско-греческим гибридом *аргентофилия* (более уместно здесь использовать слово *аргирофилия*, состоящее из греческих производных).

В медицинской литературе слишком часто применяются отглагольные существительные. По типу дореволюционного «канцелярского языка», богатого подобными «перлами» (исполнение, постановление, уведомление, указание, решение, заключение, утверждение, опровержение и проч.), некоторые авторы так же широко употребляют их: применение, экспериментирование, высказывание, осмысление, перенесение, рассечение и т. д. Нет возражений против отдельных слов такого рода, но когда их по несколько встречается в одной фразе или в ряду расположенных строках, это уже явный стилистический дефект. Например: «Наблюдение за заживлением раны привело нас к заключению о повреждении глубоких органов». К слову, эта «болезнь» легко излечима: «Наблюдая, как заживает рана, мы пришли к выводу о повреждении глубоких тканей» (можно устранить и последнее отглагольное существительное, но в этом нет надобности).

Злоупотребление родительными падежами. Вспоминаются остроумные примеры А. М. Пешковского: «Дом доктора», «Дом кучера брата доктора»; «Дом племянника жены кучера брата доктора» — пять стоящих подряд родительных падежей. Однако в медицинской литературе можно встретить и не такое: «При разрешении вопроса скорости нагревания грязи, кроме теплопроводности и теплоемкости, надо учитывать ряд других данных». «Не видно зависимости размеров тела микробов от номера генерации культуры» (семь родительных).

Неправильное употребление деепричастных оборотов. Деепричастный оборот должен показывать, как и при каких обстоятельствах субъект совершает действие. Во всех иных случаях возникают ошибки, которые подчас заметить не так-то просто. Конечно, неправильность фразы «Проведя больному три курса лечения, заразные явления, как правило, не возвращаются» бросается в глаза каждому внимательному читателю. Но в более сложном случае: «Принимая во внимание сложность борьбы с эпидемиями гриппа, становится понятной частота повторных вспышек этой болезни» — только специальный анализ выявляет неправильность построения: деепричастный оборот подразумевает один субъект (это человек, автор), а в предложении субъект (подлежащее) другой.

Повторения союзов и предлогов нередко встречаются в современной медицинской литературе. Приведем несколько примеров: «Грязь озер богата сульфатами, которые смываются с солончаковых пустынь, которые окружают эти озера»; «Кожный лейшманиоз второго типа распространен в сельских местностях, что объясняется наличием в них больных диких грызунов, что доказано профессором Л.». Подобные стилистические недочеты легко устранимы. В первом случае достаточно одно из придаточных

предложений, начинающиеся местоименным *который*, превратить в причастный оборот: «Грязь озер богата сульфатами, которые смылаются с солончаковых пустынь, окружающих эти озера». Во втором случае целесообразно ликвидировать один из союзов *что*, поставив на его место слово *это*. После исправления предложение будет выглядеть так: «Это объясняется наличием в них больших диких грызунов, что...». Однако следует иметь в виду, что повторение союзов становится стилистическим недостатком, лишь когда речь идет о соподчинительных конструкциях. Поэтому фраза: «Мы приходим к выводу, что околораневая экзема вызывается микробами, что лечить ее надо дезинфицирующими средствами и что прогноз ее — благоприятен» — вполне правильна, так как три союза *что* подчинены одному слову: «выводу, что, ... что, ... что».

«На передовых позициях должны работать врачи-специалисты для оказания своевременной помощи и для правильного отбора больных для эвакуации». Не касаясь содержания фразы, отметим, что первые два предложения *для* вполне закономерны: «Врачи должны работать для оказания помощи и для отбора больных». Но второй и третий предлоги не равнозначны «для отбора ... для эвакуации», это — стилистический недочет.

Тавтология и плеоназмы. Тавтология — обозначение уже названного понятия другим, близким по смыслу словом или выражением. Плеоназм — оборот речи, в котором сочетаются слова, настолько близкие по значению, что некоторые из них логически совершенно излишни. С этими явлениями приходится часто встречаться. Приведем несколько примеров: лечение химиотерапией, физиотерапией и т. д. (терапия — ‘лечение’); коленный сустав ноги (возможно ли колено не на ноге?); пиодермия на коже (дерма — это часть кожи); «При ощупывании живота прощупывается опухоль» и другие.

Персонафикация — это олицетворение предметов и отвлеченных понятий. В медицинском языке часто употребляются выражения типа: рентген показал, воздух лечит, исследование установило и т. д. Хотя теоретически подобные выражения и неправильны, однако они кратки, ясны, удобны и поэтому достаточно часто проникают в язык.

Но есть один вид персонафикации, с которым приходится вести настойчивую борьбу. Многие авторы явно злоупотребляют словом *случай* вместо *больной, человек* и т. д. Получаются явно неверные выражения: «Два случая болели экземой»; «Мы видели случаи, которые трудно поддавались лечению». В результате небрежности авторов получается, что случаи рождаются и рождаются, болеют, лечатся, выздоравливают, умирают и т. д. Точно так же грыжи и другие болезни могут учить врачей: «Мы видели 4 грыжи, которые учат ...». Хотя на этот вопиющий стилистический дефект уже достаточно обращалось внимания, его никак не удается изжить.

Бедность языка. Некоторые авторы не замечают в своих рукописях бесконечных повторений одних и тех же слов и выражений. Они множество раз дают мышьяк, дают в своих лекциях, не дают больным лежать на одном боку, дают возможность сделать вывод, дают критику, дают пример и т. д. Беспощадно «эксплуатируются» и некоторые другие слова: наблюдать, говорить, принять меры, становиться, проработать, делать, ставить вопрос и т. д. Каждое из этих слов вполне уместно для использования, но когда

оно повторяется без конца и без точного смысла, то это уже явный стилистический недочет.

Бессодержательные вставки. Многие авторы включают в текст слова и выражения, которые можно выбросить без всякого вреда для содержания: «Мы считаем необходимым отметить...» (кто мешает? — отмечайте, но зачем об этом говорить?); «Надо сказать, что...» (ну и говорите!); «Я хочу остановиться на вопросе...»; «Позволю себе привести...»; «На этом остановимся более подробно» и т. д. Есть у М. Горького четкое выражение по этому поводу: «Лишнее слово уничтожай как вошь!». Необходимость борьбы с «паразитами» в печатном деле стоило бы понять всем авторам и редакторам.

А вот пример медицинского многоглаголанья: «Итак, в итоге нашего глубокого анализа мы приходим к абсолютно необходимому выводу, обусловленному как не возбуждающими сомнений теоретическими данными, так и массовыми практическими наблюдениями, — выводу, что, эпидемия кожного лейшманиоза является результатом сложного комплекса факторов, из которых каждый имеет свои собственные закономерности, что приводит, в конце концов, к возможности сложных ситуаций». По-видимому, автору эта фраза кажется высоко научной, говорящей о глубине анализа, об умении

Письмо в редакцию

Вывески, этикетки и знаки препинания

Составители так называемых ценников — ярлычков с названием и ценой товара — соединяют буквенные сокращения двух основ косой разделительной чертой, то есть знаком не грамматическим, а математическим. Так, например, по отношению к селедке графема *с/с* обозначает два различных понятия 'слабосоленая' и 'среднесоленая', а *к/с* — 'крепкосоленая'. Для развернутой характеристики этого товара служит весьма сложное обозначение — *г/о, с/с, с/ж, в/с* (пишется обычно без запятых), что должно обозначать 'тихоокеанская', 'слабосоленая', 'средней жирности', 'высшего сорта'. Тот факт, что покупателю предлагается курица ошипанная, без головы, ног и кишечника, обозначается символом *п/п* — полупотрошенная. Семейство символов *в/к, г/к, с/к, х/к* обозначает различные виды копченых товаров.

В столовых характеристика борща на мясном бульоне со сметаной, но без приложения к нему кусочка мяса, обозначается графемой смешанного типа, — борщ *б/м* на *м/б с/с*. Нам скажут, что кодирование буквенными сочетаниями не новость и существует многие десятилетия. Но здесь мы встречаемся с аббревиатурой особого типа, которая читается не побуквенно, как сокращения типа МПС, МВТУ и им подобные, а с произнесением закодированных слов полностью. Это уже не сокращение, а скорее иероглиф, условный знак, обозначающий определенное смысловое понятие.

Как-то в столовой я рискнул изложить свою просьбу в точном соответствии с текстом меню и попросил подать «борщ беменамебезэсэ». Ответом была раздраженная реплика раздатчицы: «Пожилые, а чудите!». Примечательно, что в ресторанных меню названия кушаний пишутся полностью.

Так или иначе, но лингвистам впору задуматься над описанными случаями обогащения российской грамматики.

Е. Г. РОМАШКОВ
(Москва)

диалектически мыслить и т. д. Другой точки зрения придерживается редактор, который справедливо считает ее пустозвоном и сокращает: «Итак, эпидемия кожного лейшманиоза — результат действия комплекса независимых друг от друга факторов, могущих создавать ряд сложных ситуаций».

Как правило, авторы таких фраз бывают крайне возмущены, считая, что редактор допустил явный произвол, испортил, совершенно выхолостил содержание и т. д. Кто прав в этом — увы! — нередком редакционном споре, пусть решает читатель.

Двусмысленность может зависеть от разных причин. Очень часто она связана с небрежностью автора, не замечающего, что грамматическое согласование может расходиться с логическим. Яркий пример подобного рода ошибок приводит М. Горький: «Отец умер, когда ему было 9 лет». М. Горький спрашивает: «Кому ему: отцу или сыну?». А вот фраза, найденная В. Шкловским: «Граф стоял с бокалом в руках. Подошел лакей и налил его» (кого налил? — графа или бокал?).

Приведем несколько примеров двусмысленности, возникшей из-за неясности согласования придаточного предложения: «Брумпт описал больного, имевшего сужение пищевода, которое он (кто он? — Брумпт? больной?) связывал с лейшманиозом». Формально-грамматически следует считать, что это больной связывал сужение с лейшманиозом, так как ближайшее слово, с которым согласовывается местоимение *он*, существительное *больного*. «Мы наблюдали окolorаневую экзему, сопровождавшую рану, отличающуюся особым упорством». Без личных разъяснений автора так и останется неизвестным, что же отличалось особым упорством — рана или экзема? Но если бы автор вместо второй запятой поставил союз *и*, все было бы ясно. «Лечение эктимы начинается удалением корок, содержащих микробы, которые мешают заживлению язвы». Что же здесь мешает? — корки или микробы? Оказывается, корки, хотя слово *которые* согласовано и с *микробами*.

Таким образом, иногда речь идет не только об «излишней требовательности стилиста», но и о прямой двусмысленности. Поэтому при окончательном просмотре рукописи надо внимательно проверить, с чем согласованы местоимения, союзы и причастные обороты.

Мы коснулись только части языковых и стилистических недочетов, которые можно встретить при редактировании медицинских книг и журналов. Конечно, есть и другие недостатки: инверсия, длинные фразы, неправильная пунктуация, плохая расстановка абзацев, неверное согласование глаголов во времени, залоге и виде, незнание общепринятых сокращений, в частности сокращений метрических мер, ошибки в написании фамилий авторов и т. д.

Причина языковых ошибок медицинских (да и вообще научных) изданий в недостаточной работе авторов над своими произведениями. Однако здесь же необходимо отметить, что литературы по вопросам языка и стиля мало.

Умение хорошо писать требует большого труда и лингвистических знаний, причем отнюдь не элементарных. Надо шире пропагандировать эти знания, вести постоянную борьбу за точный, ясный, краткий литературный стиль медицинских книг и журналов, за правильность любого профессионального языка.

ВЫ И ВАША ПРОФЕССИЯ



В нашей стране существуют многие тысячи профессий. И каждая из них имеет свое название. Тысячи профессий — тысячи названий! По ряду причин названия профессий заслуживают и даже требуют особого, можно сказать, двойного внимания: по-первых, потому, что названия профессий одновременно являются и наименованиями лиц по профессии (плотник, аппаратчик, штукатур, летчик-испытатель, водитель трамвая и т. п.), а далее потому, что с названиями профессий связаны многие существенные, жизненно важные интересы людей. Каждый человек поэтому заинтересован в том, чтобы его профессия не только была хорошей сама по себе, но имела бы «хорошее» и «правильное» название.

Наименование по профессии сопровождает человека всю его трудовую жизнь, становясь как бы его вторым собственным именем, в известном смысле даже более постоянным.

Имена детям дают родители, фамилии переходят из поколения в поколение, но если взрослому человеку

не нравится его имя или родовая фамилия, он может изменить их в установленном законодательством порядке. Если же не нравится название профессии (не сама профессия как род трудовой деятельности, а только ее название), то человек оказывается бессильным что-либо исправить по своему желанию: названия профессий — обязательные для каждого из нас общественные установления.

Названия профессий изменяются, прежде всего, вместе или в связи с изменениями в составе самих профессий: некоторые из них исчезают (прасол, коробейник, кучер, повивальная бабка) или, наоборот, появляются новые профессии (в недалеком прошлом: шофер, летчик, радист; совсем недавно: программист, летчик-космонавт и другие). Но это лишь наиболее простые случаи: названия профессий меняются и без заметных перемен в самих профессиях как видах производственной деятельности. Происходят переименования профессий. Не так давно довольно значительное их количество

обозначалось с помощью существительных на -ло, -ля: подметало, таскало, обжигало, солило и т. п. (указаны еще в Словарях занятий 1939 и 1959 годов). Теперь таких названий нет, они полностью вытеснены другими: подносчик, обжигальщик, обметальщик производственных помещений и т. п. Профессии сохранились, а названия у них новые. Переименование произошло потому, что слова на -ло приобрели в языке нежелательную для официальных названий окраску, стали как бы «некрасивыми». Это не что иное, как эстетическое восприятие так называемой стилистической и эмоциональной окраски таких слов: все они в толковых словарях современного русского языка характеризуются как просторечные или даже грубые.

По этим же или сходным причинам и соображениям вместо чернорабочий стали говорить разнорабочий, а затем — подсобный рабочий. Любопытный, но вполне понятный случай произошел на ленинградской фабрике имени Самойловой: существующей здесь профессии «машинист гардино-тюлевых машин» предполагалось дать название «ткач». Отдел труда и заработной платы не согласился с таким предложением, опасаясь, что фабрика потеряет не только профессию под названием «машинист...», но и самих машинистов, большей частью молодых людей, недавно окончивших среднюю школу.

Таким образом, общество не только не безразлично, но в отличие от отдельного человека и не бессильно в отношении к названиям профессий: названия могут быть изменены и действительно изменяются. Однако и теперь еще существует немало названий, которые не могут быть признаны удобными, благозвучными, ясными в своем значении. В качестве

примера можно отметить два разряда названий: 1) однословные наименования типа: аквадировщик, алундировщик, ангобировщик, вздымщик, выголавливальщик, выворотчик, геттерировщик, гильоширщик, голлендерщик, дезодораторщик, декрейторщик, забалчивающий, запускальщик, инокуляторщик, крытельщик, обезвоживатель, размолевщик, рентгенгонометрист, свойлачивальщик, сусальщик, туалетчик (обработка тушек птиц), шершевальщик и т. п.; 2) многословные наименования: машинист электрического оборудования землесосных плавучих самоходных снарядов; машинист электрического оборудования перекачивающих стационарных землесосных установок; оператор автоматизированной загрузочной и разгрузочной установки; слесарь-плотник по ремонту оснований морских буровых и эстакад и т. п. Все это реальные, действующие названия: они взяты из официальных справочников.

Чем же такие наименования плохи? Первые большей частью непонятны, вторые — громоздки. Правда, в основе большинства названий профессий лежат названия производственных процессов, материалов, оборудования и т. п., и если они непонятны, то это, так сказать, не их вина, это свойство они унаследовали от своей основы: алунд, ангоб (вещество), голлендер, декрейтор (машины), дезодорация, инокуляция (производственные процессы) и т. п. Но то, с чем можно мириться в названиях предметов и процессов, становится нетерпимым при обозначении профессий.

А громоздкими названиями трудно пользоваться. Конечно, могут сказать, что громоздкие названия существуют только на бумаге — в справочниках, документах, в специальной литературе, а в живой речи ими ни-

кто не пользуется. Ведь даже сравнительно короткие неоднословные названия в живой речи сокращаются до одного слова: вместо «сушильщик пиломатериалов», «сушильщик ткани», «сушильщик стержней» и т. п. говорят просто «сушильщик», а вместо «сборщик аппаратуры», «сборщик аккумуляторов» — «сборщик» и т. д. В этом, кстати, проявляется известная противоречивость единого названия лиц и профессий: название профессий, будучи специальным термином, стремится прежде всего к точности даже в ущерб удобству; наименования лиц тяготеют более к живой речи, где немаловажным качеством оказывается краткость, удобство. Но как бы то ни было, произвольная замена одних названий, пусть крайне неудобных и громоздких, другими, хотя бы предельно лаконичными и ясными, может повлечь за собой весьма нежелательные последствия. И здесь мы должны перейти от оценочных характеристик в названиях профессий (хорошие — плохие и т. п.) к другим, более прозаическим, но вместе с тем в каком-то отношении и более существенным.

Дело в том, что с названиями профессий у нас связаны многие виды и формы трудового и социального обеспечения трудящихся: организация труда и заработной платы, определение продолжительности рабочего дня и ежегодного отпуска, нормы спецодежды и доплаты по вредности производства, льготы и преимущества пенсионного обеспечения и т. п. — все это в значительной степени поставлено в зависимость от профессий и специальностей рабочих и служащих. И тут на первое место очень часто выходят именно названия профессий, а не их особенности: на все виды производственного и социального обеспечения существуют осо-

бые списки, утверждаемые государственными органами. В них перечислены профессии и специальности и соответственно в каждом конкретном случае определены права, льготы, преимущества трудящихся. И очень часто случается, что род занятий как будто подходит, а название нет, или наоборот. Из-за этого возникают многочисленные трудовые споры и конфликты, в том числе и в результате невнимательного, а иногда просто небрежного обращения с действующими наименованиями профессий: неправильных записей в документах по приему и увольнению рабочих, в трудовых книжках и т. п.

Вот несколько примеров. Николай Иванович Д. за долгую службу на железнодорожном транспорте последовательно был машинистом паровоза, машинистом тепловоза, машинистом электровоза. Чтобы как-то отметить заслуги старого работника, ему в трудовую книжку была записана профессия «машинист локомотива». Николай Иванович этим гордился, но когда пришло время оформлять пенсионное дело, оказалось, что в соответствующем списке нет «машиниста локомотива», есть только машинист паровоза, машинист тепловоза, машинист электровоза. Как это ни досадно, рабочему пришлось доказывать свои права.

На одном из ленинградских предприятий наиболее квалифицированным полировщиком оптических стекол было в знак поощрения присвоено звание «оптик». Но вскоре выяснилось, что просто полировщики имеют право на дополнительный отпуск, а наиболее квалифицированные полировщики, т. е. оптики — нет. Один из таких оптиков писал в «Ленинградской правде» (4 января 1962): «Тут, как говорится, и слава не радуется». К подобным последствиям могут

привести и различные сокращения, переделки, искажения официальных названий профессий.

Конечно, это явление достаточно редкое, но ведь за каждым «подправленным» названием стоят сотни и тысячи людей.

Кстати, нельзя думать, что ответственность лежит лишь на тех, кто допустил искажение названия: это происходит обычно не по злой воле, а в силу определенных закономерностей языкового поведения. Основой же могут быть неудовлетворительные в том или другом отношении названия — громоздкие, непонятные и т. п.

Таким образом, наши отношения к названиям профессий определяются по крайней мере двумя разнонаправленными факторами: один из них, условно говоря, эстетический, требует замены всех «плохих» названий; другой, связанный с материальными интересами людей, напротив, требует не только мириться с существующими названиями, но и оберегать их от произвольных «улучшений». Понятно, что преимущество на стороне второго фактора, но преимущество не абсолютное: ничто не сможет приостановить процесс обновления наименований профессий, в частности, и по требованию эстетики языка. Надо только предостеречь от неорганизо-

ванных и непропорциональных шагов. В связи с этим есть смысл сообщить, что вопрос о наименовании и переименовании профессий в нашей стране решает ВЦСПС и Государственный комитет по труду и заработной плате.

Мы хотим привлечь внимание всех, для кого вопрос о названии профессий представляет житейский, служебный или научный интерес. Здесь особо следует назвать Институт труда при Государственном Комитете по труду и заработной плате. В институте есть отдел тарифно-квалификационных справочников, который прежде всего и занимается всем кругом проблем, связанных с наименованиями и характеристиками профессий и специальностей. К сожалению, отдел работает без достаточной связи с лингвистами. В пример ему можно поставить Комитет научно-технической терминологии при АН СССР, который находится в постоянном контакте с Институтом русского языка АН СССР. Все издаваемые Комитетом сборники научно-технических терминов согласовываются с Институтом. Еще в большей мере это необходимо в отношении наименований профессий и лиц по профессии.

А. И. МОИСЕЕВ,
доцент ЛГУ

**В следующем номере
будет опубликована статья
профессора Д. Н. Ушакова
о московском произношении**

РУССКИЙ И ТАДЖИКСКИЙ

«Русский язык, оказывая большое влияние на национальные языки, и сам подвергается определенному воздействию этих языков, в первую очередь в отношении словарного состава» (см.: Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко. — «Русский язык в школе», 1966, № 1). Русский язык заимствует из других языков значительное количество слов, выражений, терминов для обозначения новых, ранее неизвестных понятий.

Как показывают наблюдения, количество слов из языков народов Средней Азии (в том числе из таджикского), проникающих в русский язык, постоянно увеличивается. Это объясняется тем, что расширяются общественные функции национальных языков, усиливаются международные контакты, а пути, которыми русский язык заимствует лексику, укрепляются. Большую роль, несомненно, играет местная и центральная пресса.

Распространению этой лексики способствует также русская художественная литература. Многие русские писатели посвящают свои произведения Таджикистану. О жизни и героических подвигах трудящихся Таджикистана, о его природе и быте писали и пишут Н. Тихонов, В. Луговской, Е. Долматовский, Я. Смеляков, П. Лукницкий, Л. Соловьев, О. Мальцев и многие другие.

Таджикские слова и выражения, встречающиеся в русской литературе, используются для создания местного (национального) или социально-исторического колорита. Заимствованные слова, придавая повествованию яркость, красочность, выполняют важные семантико-стилистические функции.

Иноязычная лексика осваивается языком в разной степени. Так, некоторые заимствованные из таджикского языка слова встречаются ред-

ко, другие чаще, многие проникают в словарь. Например, в «Кратком музыкальном словаре» А. Должанского (М.—Л., 1966) представлены слова: гиджак (скрипка), дойра (бубен), дутар (двухструнный инструмент) и другие. В «Энциклопедическом словаре по физкультуре и спорту» (М., 1963) разъясняются значения таких слов, как: бузкаши (козлодрание), гупсар (мех, надуваемый воздухом и используемый для переправы через реку), гуштигири (борьба) и др.

Следует обратить внимание на продуктивность образования сложных слов, в качестве одного из компонентов которых выступает заимствованное из таджикского языка слово: гузокорчеватель (корчеватель стеблей хлопка), куракоуборочный (уборочная машина для сбора незрелых корбочек хлопка), чайхана-читальня, пол-чайрик (пол-четверти), межкйшпачный и т. д.

Некоторые слова вошли в русский язык в неизменном виде, другие изменялись, приспосабливались к фонетике и грамматике русского языка. При этом одно и то же слово часто передается по-разному. Например, М. Левин пишет *нас*, Орест Мальцев — *насвай*, Павел Лукницкий — *назвай*, А. Удалов — *носовой*. Можно встретить варианты: мехмонхона, михмонхона, мехмонхана (гостиница); ошхона, ошхана, апхана (столовая); гузапая, гуза-паи (стебелек хлопка); шурбо, шурпо, шурпа (сух); танга, таньга (монета) и т. д. Большую путаницу создает разнобой в написании имен собственных, например: Насир Хисрав, Носири Хисров, Носир Хисроу; Омар Хайям, Омар Хайем; Фирдоуси, Фирдауси, Фирдавси; Пенджикент, Пянджикент и т. д.

Подобный произвол в письменном оформлении заимствованных слов, значительный отход от звукового облика оригинала затрудняют понимание значения слова. В связи с этим исключительно важное значение приобретает упорядочение, нормализация заимствований в русском языке, разработка научно обоснованных критериев передачи таджикских звуков средствами русского языка.

Кандидат педагогических наук
И. Л. НИКОЛАЕВ



Поэзия и развитие речи

На днях я приобрел новое издание книги А. Н. Плещеева «Стихи» (серия «Школьная библиотека для нерусских школ». М., 1967, 31 стр.), с которой у меня связано много воспоминаний. Книжка эта — кусочек автобиографии, история моего приобщения к русской поэзии.

Тридцатые годы. Учился я тогда на курсах при Загорском педагогическом училище. До этого окончил татарское отделение Казанского педтехникума и год проработал в школе. До техникума жил и учился в глухой татарской деревушке...

Говорил я по-русски плохо. Особенно не ладилось с окончаниями, произношением, ударением. Это заметил один из старейших преподавателей курсов В. А. Вишнеvский. Он посоветовал мне читать вслух для развития речи стихотворения русских поэтов. Я стал брать в библиотеке произведения А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, И. З. Сурикова... Тогда же попала мне в руки книжка стихов А. Н. Плещеева. Стихи мне очень понравились; казалось, что нечто похожее я уже читал на родном языке. Позже я понял, что чувство этошло от родной татарской поэзии, от воспоминаний детства. Слова бесхитростного стихотворения «Сельская песня» запомнились сами собой, без всяких усилий:

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!

Дам тебе я зерен,
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой...

Они пленяли меня простотой и музыкой ритма. Перед мысленным взором отчетливо вырисовывались зеленеющая трава, ласковое солнце и трепетная птичка, щебечущая приветную песню далеких стран. Душу охватывало щемящее чувство грусти и радости. Говоря словами М. Горького, «стихи звучали, как благовест новой жизни».

Каждое неправильно поставленное мной ударение «резало» ухо моим русским товарищам, но они терпеливо поправляли меня. Целый год оглашал я монастырские своды стихами великих поэтов (занимались мы и жили в Троице-Сергиевой лавре). И работа моя не пропала даром. Я не только

на всю жизнь полюбил поэзию, но и заметно улучшил свое литературное произношение.

Работая в школе более 30 лет, я постоянно старался приобщать детей к красоте русской классической поэзии. Добивался, чтобы дети глубже понимали смысл поэтических образов. Для этого мы совместно с учителями начальных классов проводили уроки поэзии, знакомили детей со стихами А. Майкова, И. Никитина, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Толстого. Поэтические образы становились богаче, когда дети знакомились с произведениями живописи, слушали музыку. Слова Ф. Тютчева

Весна идет, весна идет,
И таких, теплых, майских дней
Румяный светлый хоровод
Толпятся весело за ней

наполнялись большим содержанием после ознакомления с картиной Левитана «Март», прослушивания романса Рахманинова и «Песни Жаворонка» из «Времен года» П. И. Чайковского.

В школе мы проводили поэтические вечера, «пятиминутки поэзии» на уроках русского языка. Все полнее приходило к нашим детям понимание стихов. Многие из них заводили свои «поэтические сборники», учили полюбившиеся стихи наизусть. А у некоторых даже появилось желание сочинять самим.

Нельзя не согласиться с поэтом Л. Озеровым, который писал: «Мы много говорим сейчас об эстетическом воспитании, о ликвидации эмоциональной неграмотности и, справедливо обращаясь к музыке и живописи, вместе с тем проходим мимо богатств русской поэзии» (см. его статью «Страна русской поэзии» — «Литературная газета» 28 марта 1961). Мы, учителя, действительно все еще недооцениваем роль поэзии в воспитании школьников. На эту застарелую «болезнь» указывал К. И. Чуковский в книге «От двух до пяти».

Не так давно нам привелось беседовать с учащимися второго класса одной из железнодорожных школ. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что ученики в конце учебного года не знают наизусть и половины стихов, которые (согласно программным требованиям) должны были выучить. Не знали они стихов и «сверхпрограммных».

В моей библиотеке много стихов из серии «Школьная библиотека для нерусских школ», выпускаемой издательством «Детская литература». Эти книги легко читаются. Они «шлифуют» язык, углубляют чувства, помогают лучше понимать русскую речь.

«Я в школе-интернате полюбила чтение и прочитала много хороших и полезных книг. В колхозе я не умела говорить по-русски, а теперь научилась», — говорит воспитанница четвертого класса школы-интерната № 1 Алма-Аты М. Баян. («Школа-интернат», 1962, № 4). Все больше людей понимают сейчас, что овладение вторым родным языком невозможно без дружбы с русской поэзией, русской литературой, без чтения русских книг.

Вот какие мысли вызвала у меня купленная на днях небольшая книжка стихов незабвенного Алексея Николаевича Плещеева, оформленная хорошими рисунками А. Д. Короткина.

Кандидат педагогических наук
Н. А. КАРГИН

Синтаксис разговорной речи

И. Н. КРУЧИНИНА,
научный сотрудник Института
русского языка АН СССР

Наш язык существует, как известно, в двух речевых формах: письменной и разговорной. Каждая из этих форм образует свою особую систему, располагая только ей присущими средствами выражения и своими нормами употребления и структурного упорядочения этих средств. Однако если по отношению к письменной речи это общепризнано, то системная организация разговорной формы нередко ставится под сомнение. Взгляд на разговорную речь как на «неправильную», «испорченную», «нелитературную» еще встречается даже в среде языковедов. А между тем специальные наблюдения дают все основания утверждать, что «устная речь в быту не только произносится, но имеет и организованные формы своего построения» (В. В. Виноградов). В справедливости такого утверждения можно убедиться и на опыте, «прослушав» кусочек живого разговора:

— Ну здесь хорошо жить вообще, тетя Сань?

— Ну чего ж, я одна здесь. Чего ж плохо-то? Тепло. Ну бывает иногда по вечерам скучновато. Ну а так день-то некогда скучать-то: работа, дело, или куда пойдешь.

— А соседи хорошие?

— Соседи хорошие у нас. А соседи — я и не вижу никого. Я одна. Соседи... Две соседки молодые, они уходят на работу, я одна на кухне, все делаю. Они приходят — они делают. Я им не мешаю. Так что чего ж здесь, хорошо. Чего ж, я живу одна. Ну скучно бывает по вечерам — немножко. Ну вот вчера взяла ушла кино посмотреть вот. В клуб. В клубе. А так, телевизор, радио. Слушаешь, книгу читаешь. Иногда что-нибудь поковыряешь, поштопаешь, сошьешь. Так время-то и идет. А чего нам теперь старухам надо-то? — Покой!

— А в Салтыковке хуже было когда жили?

— А там надо печку топить. Что я могу сделать с таким домом? Он дом-то стоит, но он очень холодный. Он давнишней стройки. Его поставили-то лет семьдесят-восемьдесят, этот дом-то. Но он холодный. Его не натопишь. А потом я одна осталась, да пожилой человек. Что я могу сделать-то? Ведь я же там не могу топить. И пришлось — вот выехать оттуда. Молодым-то мы теперь старые-то нужны что ли? Мешаться только. Но в общем хорошо.

— Ну а летом в Салтыковку?

— А летом в Салтыковку, конечно. У меня там клубника. В Салтыковку поеду — работать. Покамест силы есть.

Даже этот небольшой, очень несложный по содержанию отрывок достаточно хорошо раскрывает специфику простой повседневной речи. Эта специфика проявляется и в словопорядке, почти всегда подчиняющемся стремлению говорящих более важную, с их точки зрения, часть сообщения вынести в начало фразы (в приведенном тексте с этим стремлением связан, в частности, разрыв обстоятельственной группы *когда жили в Салтыковке*: А в Салтыковке хуже было когда жили?), и в интонационном оформлении высказывания (что на письме может быть передано лишь «страженно» — через пунктуацию), и в способах его грамматической организации. Остановимся несколько подробнее на последней особенности.

Допустим, мы имеем такую ситуацию. В мастерскую по ремонту электроприборов обращается человек с просьбой исправить плитку. Ему отвечают, что ремонт плиток производится в другом месте (например, на улице Кирова), а здесь могут починить только пылесос. Эту ситуацию нужно описать так, чтобы предмет, находящийся в центре внимания, был резко отделен от последующего сообщения о нем. Очевидно, что в зависимости от конкретных условий общения (непосредственный контакт или переписка) это описание будет построено по-разному. Существенное средствами письменной речи, оно примет приблизительно такой вид: «Мы можем починить только пылесос. Что касается электроплитки, то вам нужно поехать на улицу Кирова, так как мы такого ремонта не производим». В разговорной речи оно будет иметь иную форму: «Электроплитка? Извините, это не по нашей части. Приносите пылесос — исправим. А плитки — это надо на улицу Кирова ехать» (см.: «Вечерняя Москва», 12 мая 1964). Таким образом, там, где письменная речь использует застывший синтаксический оборот *что касается... то...*, разговорная употребляет особую надежную форму, известную под названием «именительного представления». В повседневном непринужденном общении такие структуры распространены очень широко. Одна из них встретилась и в приведенном выше тексте: «А соседи — я и не вижу никого». В общей системе языка оборот *что касается... то...* и именительный представления строго дифференцированы: их безразличное употребление внутри одной речевой сферы недопустимо. Убедиться в этом нетрудно: стилистический ущерб, который нанесет нашему тексту замена фразы «А соседи — я и не вижу никого» предложением «Что касается соседей, то я их не вижу», очевиден.



Синтаксические различия между письменной и разговорной речью очень разнообразны. Когда языковые средства разговорной речи не находят себе заменителей в речи письменной (или наоборот), эти сферы оказываются противопоставленными, когда такие заменители имеются, разговорная и письменная речь сопостави-

мы. Богатые выразительные возможности разговорной речи нагляднее всего проявляются во втором случае.

Возьмем два высказывания, построенных по одному образцу, но различающихся конкретным грамматическим оформлением: «Талант — это вера в себя» и «Талант — это когда веришь в себя». Первое характерно преимущественно для письменной речи, второе — только для речи разговорной. Однако этим различия между ними не исчерпываются. За их неодинаковым грамматическим оформлением стоят еще и различия в значении. Хотя оба высказывания передают идею тождества двух понятий, в первом это тождество мыслится отвлеченно, как постоянное и заранее установленное, а во втором — как открываемое непосредственно в момент говорения.

В пределах разговорной речи второй способ отождествления имеет исключительно широкое распространение. Вот несколько примеров: «Любовь — это когда друг без друга жить нельзя»; «Хали-гали — это когда ни на что не похоже»; «Авторитет — это когда тебя боятся» (из газеты), «Детское кино — это когда мультфильмы показывают» (из газеты). Еще одна иллюстрация (определяется понятие «счастье»): «Счастье — это когда у тебя любимая работа»; «Мне кажется, счастье — это когда человек о чем-то думал, мечтал об этом, и наконец свершилось это, он добился своего»; «Я просто понимаю: счастье — это когда все в достатке»; «Счастье — это когда свой хлеб человек добывает любимым делом»; «Некоторые считают, что счастье — это если человек всегда улыбается. Рот до ушей» (из газет).

Эти конструкции передают само движение мысли. Поэтому их часто можно встретить в поэтической речи. Здесь они выполняют уже собственно эстетическую функцию.

Ночь. Чужой вокзал.
И настоящая грусть.
Только теперь я узнал,
Как за тебя боюсь.
Грусть — это когда
Пресной станет вода,
Яблоки горчат,
Табачный дым как чад
И как к затылку нож,
Холод клинка стальной,—
Мысль, что ты умрешь
Или будешь больной.

(Л. МАРТЫНОВ. Грусть)

Однако сам факт такого заимствования совсем не означает, что структуры типа *талант — это когда...* вообще не ограничены в употреблении. Их стилистически не мотивированное использование за пределами разговорной речи совершенно недопустимо и не может рассматриваться иначе, как нарушение современной грамматической нормы.

В повседневной жизни нам часто приходится пользоваться такими конструкциями: «Здесь есть чем руки вытереть?»; «Дай мне

на чем погладить»; «Пойдем на речку — возьми на чем посидеть» и другими, в которых одна из позиций, предназначенных для слова (в данном случае позиция при глаголах *есть, дай, возьми*), замещается, однако, не словом, а построенным как предложение местоименным оборотом. В кругу явлений, определяющих синтаксическую специфику разговорной речи, такие конструкции занимают значительное место. Вот несколько примеров:

а) позиция слова замещается оборотом с местоименным наречием *где*: «Поставь стул где он стоял»; [в магазине]: «Лучше пойдем где духи», «Где она работает нет яслей»; «Иди где вывеска — там и будет выставка»; «Здесь лучше, чем где мы раньше жили» и т. п. (ср.: «Поставь стул на место»; «У нее на работе нет яслей»; «Здесь лучше, чем там» и т. п.);

б) позиция слова замещается оборотом с относительным местоимением *кто* в той или иной предложно-падежной форме: «Найди мне кто вяжет»; «Пускай кто остается работает»; «Поедешь с нами? — Нет. — Почему? — Для меня, сказали, места нет в машине. — Кто сказал? — С кем пришел»; «У нас из-за балкона холодно. — Балкон — да. У кого балкон — всегда холодно» и т. п.

В пределах этой группы построений синтаксическая и смысловая зависимость местоименного оборота от других слов различна. Иногда она бывает минимальной, например, при обращении: «Кому трудно — переходите на ходьбу» (радио), а иногда — отсутствует совсем: «Кто умеет хорошо готовить — картошка вещь замечательная»; «Кому холодно — можно закрыть окно»; сюда же следует отнести: «У кого нет разменной монеты — у водителя имеются абонементные книжечки».

В современной художественной литературе некоторые из этих структур используются как средство воспроизведения естественной речи:

«— Что рты-то разевать — рви двери, выноси зерно с другого угла!

— Снегом его, огонь-то, снегом, ребята! У кого лопаты — режь снег кирпичами! Кто смелый — наверх!» (Залыгин. На Иртыше).

Очень часто такие обороты встречаются в языке газеты — в материалах, отражающих бытовую тематику: «У кого что есть новенького — выходи» («Комсомольская правда», 7 июня 1964); «Кто с нами не согласен — к позорному столбу!» («Правда», 5 июля 1964); «Кому не нравится — скатертью дорога» («Литературная газета», 6 июня 1964).

С точки зрения традиционного грамматического анализа, сложившегося, как известно, исключительно «под давлением» системы письменной речи, подобные структуры обычно объясняют как неправильности, возникающие в результате незаконного «опущения» необходимых формальных элементов, например, наречий *там, туда*: «Поставь стул где он стоял» и «Поставь стул туда, где

он стоял»; указательного местоимения *тот*: «Пуškai кто остается работает» и «Пуškai работает тот, кто остается» и др. Однако такое объяснение нельзя считать обоснованным. Дело в том, что в ряде случаев подстановка якобы опущенных элементов (если и признать ее правомерной) или вообще окажется невозможной (как, например, в структурах типа «Кто умеет хорошо готовить — картошка вещь замечательная»), или даст совершенно неожиданный результат — приведет к изменению смысла всего высказывания (например, в тех случаях, когда местоименный оборот сочетается с глаголом *любить* и другими, близкими к нему по значению; ср.: «Люблю кто поет» и «Люблю тех, кто поет»; «Люблю у кого косы» и «Люблю тех, у кого косы»). Все это лишний раз убеждает в том, что разговорная речь есть особая система, организующаяся по своим законам и правилам, и, как следствие этого, требующая особых приемов изучения и описания.

ПРАКТИКУМ ПО СТИЛИСТИКЕ

Дорогой читатель!

Мы печатаем отрывки из рассказа Бориса Гусева «Человек издалека» («Неделя», 1967, № 43). Напишите нам, все ли вы считаете здесь правильным с точки зрения языка и стиля.

1/1 Дорога становилась все хуже и хуже. Мы остановились посреди поля.

2/2 К вечеру погода улучшилась. Постепенно утих ветер. В воздухе кружились птицы: медленными кругами — галки, стремительными зигзагами — ласточки. А я все более и более уходил в далекое прошлое, потому что по этой самой дороге я шел почти тридцать лет назад в это же село Голино. Мы шли туда с отцом. Он взял меня на охоту и рыбную ловлю. И точно так же вдали белела церковь. Так же носились птицы. Я, прыгая через канаву, забегал в поле, словом, вел себя, как городской мальчик, вырвавшийся на простор и свободу. Отец шел, задумчиво опустив голову. А рядом лошадь тащила телегу с нашими вещами — ружьями, удочками, сетями, новым парусом и продуктами. Когда мы уже в Голине подошли к дому Бутылиных, где предстояло нам жить, первое, что я увидел, была девушка, идущая навстречу с полными ведрами. Я запомнил ее лицо с широкими скулами и большими вразлет бровями.

— Знакомься, это Лехта, сестра Павлика, — сказал отец.

Девушка улыбнулась и покраснела. Ведра качнулись на коромысле, и на землю чуть плеснула вода. Мы вошли в дом и сложили вещи в отведенную для нас небольшую комнату. Брат Лехты, Павел, был в поле на колхозных работах.

3/3 Дня через два отправились на охоту в ильменские камыши. Ночью я, конечно, заснул в надувной резиновой лодке. Проснулся от выстрела. Было уже светло. Рядом по колону в воде стоял отец, отнимая от плеча двустволку, и я вдохнул запах пороха.

— Беги! Ты убил чирка, — серьезно сказал он и показал направление.

Спросовья я ошалело выпрыгнул из лодки, схватил «мелкокалиберку» и побежал, чуть не по поясу утопая в илестом дне.

4/4 В Голино к отцу заезжали приятели из города. Бывал Александр Викторович. Сам он ничего не умел делать. Нужно было надеть на крючок червяка, дать ему в руки удочку. И тогда он удил.

Собирательные числительные

Среди русских числительных выделяется небольшая группа слов (двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро), характеризующихся своеобразными морфологическими признаками и особым функционированием в речи. Их принято считать производными от соответствующих количественных числительных и называть собирательными. Хотя в языке есть потенциальная возможность образовывать подобные числительные и от количественных второго, третьего и следующих десятков, практически это не происходит.

Само название числительных — собирательные — предполагает признание в них значения совокупности в отличие от соответствующих количественных. Так, например, в академической «Грамматике русского языка» сказано: «Собирательные числительные обозначают количество предметов как их совокупность» (ч. I. М., 1952, стр. 380). Однако в современной лингвистике есть и другие суждения: «Следует отметить условность названия „собирательные числительные“, никакого иного семантического оттенка числительные *двое* и под. по сравнению с *два* и другими не имеют», — пишет Н. М. Шанский в книге «Современный русский язык» (М., 1957, стр. 307). Это высказывание справедливо, если иметь в виду количественные сочетания с существительными *pluralia tantum* (употребляющимися только во множественном числе, например: сани, ножницы) и с некоторыми другими разрядами личных имен существительных мужского и общего рода, но его нельзя распространить на все случаи употребления собирательных числительных.

Равнозначность собирательных и количественных числительных отчетливо проявляется и в сложных словах: двоеточие, двоевластие, четверостишие, четвероногие (при *двуногое животное*), двоеборье, троеборье (при *пятиборье*), троекратный, троелистка (при *трилистник*), четверохолмие, четвероместный (при *двухместный*) и других.

При функционировании в речи количественные числительные более абстрактны. По выражению академика А. А. Шахматова, они «означают названия количественных отношений как вообще, так и в их сочетании со считаемыми предметами» (Синтаксис русского языка. Л., 1941, стр. 500—501). Из этого следует, что собирательные числительные не могут выступать в речи как счетные слова, отвлеченные обозначения количества. «Собирательно-разделительные числительные гораздо субстанциональнее, предметнее, чем прямые обозначения чисел (ср. *пятеро* и *пять*, *двое* и *два* и т. п.)», — пишет академик В. В. Виноградов в книге «Русский язык» (М.—Л., 1947, стр. 309).

Обычно отмечают непродуктивность собирательных числительных, их неспособность к словопроизводству, что в известной степени справедливо, если речь идет о современном состоянии русского литературного языка. Кстати, это в такой же степени относится и к количественным числительным. А сохранившиеся в современном русском языке старые слова: четверик, пятерик, семерик; двойка, тройка, шестерка; двойня (двойни) и дру-

гие — свидетельствуют о былой продуктивности собирательных числительных. Важно отметить, что большая часть слов, производных от собирательных числительных, принадлежит к нейтральному, наиболее устойчивому пласту русской лексики.

Следующей характерной особенностью собирательных числительных является их сочетаемость с несравненно более узким кругом имен существительных. Во всех научных и учебных пособиях по русской грамматике дается перечень количественных сочетаний с собирательными числительными. Однако классификация количественных сочетаний с собирательными числительными в роли определения нуждается не только в уточнении, но в ряде случаев и в теоретическом обосновании.

I. Сочетания собирательных числительных с существительными, употребляющимися только во множественном числе

Сочетания типа *двое саней, четверо суток, трое щипцов* или *двое детей, четверо девчат* представляют собой давно сложившуюся в языке литературную норму, единственно возможную и не допускающую вариаций. В такого рода сочетаниях в функции единственно возможного количественного определителя выступают собирательные числительные *двое, трое, четверо*. Числительные *два, три, четыре* с существительными *pluralia tantum* сочетаться не могут, поскольку они требуют после себя формы родительного падежа единственного числа (по происхождению двойственного), т. е. формы, невозможной от существительных, употребляющихся только во множественном числе. По аналогии с сочетаниями *двое (трое, четверо) суток (детей)* возникли *пятеро, шестеро* и т. п. Однако в этих словосочетаниях уже нет идущей от самого языка необходимости, поскольку и после количественных числительных *пять — десять* и после собирательных *пятеро — десятеро* существительные стоят в форме родительного падежа множественного числа, которая может быть образована и от существительных *pluralia tantum*. Возникает параллелизм употребления: пять суток и пятеро суток, семь детей и семеро детей. Норма выступает в двух вариантах.

Следует отметить, что в косвенных падежах предпочтение отдается количественным числительным (при помощи двух щипцов, с тремя ножницами, на четырех воротах, с тремя детьми), что формы косвенных падежей от *пятеро — десятеро* в сочетаниях с существительными *pluralia tantum* вовсе неупотребительны. Все это вполне закономерно: ведь в сочетаниях числительных с существительными в косвенных падежах управление уступает место согласованию, которое как раз характерно для количественных числительных.

II. Сочетания собирательных числительных с одушевленными существительными, обозначающими лиц мужского пола

Такие сочетания описаны в «Практической стилистике русского языка» профессора Д. Э. Розенталя (М., 1965, стр. 137—138). В этой книге сочетания количественных и собирательных числительных с личными именами мужского рода рассматриваются как синонимические варианты, иногда разли-

чающиеся по стилю. Однако выбор собирательного числительного подсказывается иногда формальными особенностями данного существительного. К этой группе относятся:

1. Существительные общего рода, например: *трое сирот*, но *три сироты* (о девочках); *двое разинь*, но *две разини*. Ср.: «А они — Женька и еще двое оторвиголов — на какой-то сибирской станции пересели с поезда, идущего на восток, на поезд, идущий на запад» (Семин. Семеро под одной крышей). Сочетания типа *двое оторвиголов* или *трое сирот* для обозначения лиц мужского пола имеют языковое обоснование. Как известно, родовая принадлежность некоторых разрядов существительных в русском языке обнаруживается синтаксически, т. е. только в сочетающихся с ними атрибутивных и предикативных словах. Русские числительные (за исключением *один* и частично *два*) утратили изменяемость по родам. Но собирательные стали приметой мужского рода: *трое мальчиков*, но *три девочки*.

2. Существительные мужского рода, оканчивающиеся на *-а* (*-я*): *мужчина*, *юноша*, *судья*.

Закреплению собирательных числительных в сочетаниях с такими существительными, видимо, также способствовал их морфологический облик: по форме они идентичны существительным общего рода. Парадигма склонения количественных сочетаний с существительными мужского и женского рода совпала бы при употреблении количественных числительных, ср.: *четыре женщины* (*мужчины*), *четыре женщины* (*мужчин*) и т. д. Собирательные числительные дают возможность устранить такое совпадение. Отсюда возникли сочетания *двое* (*трое*, *четверо*) *мужчин* при *две* (*три*, *четыре*) *женщины*. В косвенных падежах собирательные числительные обычно заменяются количественными. Следует добавить, что с собственными уменьшительными существительными мужского рода (*Петя*, *Сереза*) нормой стали сочетания с количественными числительными, например: «Здесь собрались все, кто приехал в колхоз на практику: Клара... и два Вовки» (Лукашевич. Девушки).

3. Субстантивированные прилагательные мужского рода (*большой*, *портной*, *военный*).

Д. Э. Розенталь в «Практической стилистике русского языка» указывает на предпочтительность собирательных числительных в сочетаниях с субстантивированными прилагательными, никак не аргументируя это. Однако употребление собирательных числительных в сочетаниях типа «В дверях стояли двое штатских» (Куприн. Поединок) в какой-то степени мотивировано и находит объяснение в языке. Чем менее завершён переход прилагательного в существительное, тем больше оснований сочетать с ним собирательное числительное. Ведь вместо современного сочетания *двое рабочих*, например: «Двое рабочих откидывали толстые стойки прицепа» (Ажаев. Далеко от Москвы) в недалеком прошлом было *два рабочих человека*, где прилагательное *рабочих* являлось определением к так называемому неразложимому количественно-именному сочетанию *два человека*. При переходе прилагательного *рабочий* в существительное из сочетания выпадает за ненадобностью слово *человек*, а форма *рабочих* оказывается в непосредственном подчинении числительному *два*. Но при количественных числительных *два*, *три*, *четыре* по законам языка форма родительного падежа множествен-

ного числа существительного невозможна. Отсюда, сначала единственно возможным, а в наше время предпочтительным количественным определением при субстантивированных прилагательных становится собирательное числительное. Например: «Двое дневалых начали мытьё полов» (Быков. Мертвым не больно); «Трое вошедших были различны» (Николаева. Битва в пути).

Таким образом, в количественных сочетаниях с существительными *pluralia tantum* и с существительными общего и мужского рода употребление собирательных числительных обусловлено закономерностями, свойственными русскому числительному как части речи или же вызвано широко проявляющейся в языке аналогией. В этих сочетаниях собирательные числительные не обнаруживают особого значения совокупности, по смыслу они не отличаются от соответствующих количественных числительных.

От рассмотренных случаев отличаются количественные сочетания с личными существительными мужского рода на согласный типа *друг, сын, студент, врач*, в которых употребляются и количественные и собирательные числительные. Выбор числительного определяется стилем или особым речевым заданием. М. В. Ломоносов, говоря об ограниченном употреблении собирательных числительных по сравнению с количественными, писал в «Российской грамматике», что они в функции числового определителя употребляются только в отношении людей «и то по большей части низких, ибо неприлично сказать: *трое бояр, двое архиереев, но три боярина, два архиерея*» (Полное собрание сочинений. Т. VII, стр. 558). Таким образом, Ломоносов исключает высокую лексику из группы личных существительных мужского рода, с которыми могут сочетаться собирательные числительные. Вместе с тем он отмечает употребление собирательных и количественных числительных с одним и тем же существительным в зависимости от «штиля», например: *пять сынов* и *пятеро сыновей* (там же, стр. 626).

Д. Э. Розенталь полагает, что в современном русском языке не со всеми существительными мужского рода на согласный могут свободно употребляться количественные и собирательные числительные, что в сочетаниях со словами *профессор* или *генерал* следует предпочесть количественные числительные. Однако автор «Практической стилистики» не делает попытки хотя бы примерно перечислить существительные, с которыми преимущественно сочетаются собирательные или количественные числительные. Далеко не всегда можно также определить, почему современные писатели в аналогичных текстовых ситуациях употребляют то одни, то другие числительные. Например: «Три абитуриента сидели на скамьях» (Горелик. Обещание); «...Если в рассказе фигурировали двое или несколько персонажей» (Андроников. Я хочу рассказать вам); «Возле Джанкоя пали смертью храбрых пятеро бесстрашных черноморцев» (Первенцев. Честь смолоду).

Иногда писатели используют способность собирательного числительного обозначать количество как некую совокупность, группу объединенных чем-то людей. Например: «По окраине идут четверо довольных удачей охотников» (Лавренев. Василий Яковлев); или «На общипанной вытопанной травке напротив райкома расселись трое колхозников» (Тендряков. Тугой узел). Даже в общем мало употребительные *девятеро* или *десятеро* могут оказаться в определенном текстовом окружении и семантически и стилистически

более подходящими, чем соответствующие им количественные числительные. Например: «Мы, десятеро парней, пришли в сельсовет и просили направить нас в партизанский отряд» (Карпов. Не родись счастливым). Автор хочет сказать прежде всего о единой группе (а не о точном количестве), о ее коллективном действии, поэтому он употребляет собирательное *десятеро*.

Значение совокупности проявляется у собирательных числительных несравненно отчетливее при их субстантивации. Значительно бóльшая по сравнению с количественными предметность собирательных числительных обеспечивает им легкую субстантивацию.

Субстантивированные собирательные числительные употребляются в роли подлежащего, дополнения или как часть составного именного сказуемого. Например: «Нас, офицеров, в землянке трое. Двое мирно спят» (Никитин. Рисунок акварелью); «Только четверо поступили в вуз» (Жестев. Земли живая душа). Субстантивируясь, собирательные числительные обозначают лиц мужского пола или группу лиц, состоящую из мужчин и женщин. Например: «У костра сидели трое. Три гвардейца, три героя» (Васильев. Трое у костра); «На углу стояли двое — мужчина и женщина» (Грекова. Под фонарем). Такое употребление представляет собой давно сложившуюся литературную норму. Однако в современном русском языке субстантивированные собирательные числительные используются и для обозначения лиц женского пола. Например: «Каждый год сына жду, приезжаю домой — дочь, а их у меня девятеро» (Серафимович. Город в степи); «Из класса в тридцать шесть человек у нее всерьез немецким занималось семеро, только девочки» (Холопов. Дюкер); «Однажды я был влюблен сразу в троих, и, главное, это мне гораздо больше нравилось, чем если бы в одну» (Ефимов. Смотрите, кто пришел!).

Субстантивированным собирательным числительным присущи грамматические категории совокупности и лица. Они в отличие от собирательных числительных в функции определения имеют полную парадигму склонения и в косвенных падежах не заменяются количественными.

Широкое употребление субстантивированных числительных для обозначения лиц женского пола привело к возникновению количественных сочетаний личных существительных женского рода с собирательными числительными. В литературном языке это явление относительно новое. Академик В. В. Виноградов по этому поводу пишет: «В этих числительных [собирательных.— Г. К.] сохранились отражения более древнего понимания категории лица». И далее: «Очевидно, что в оборотах *двое мужчин* (но: *две женщины*)... пережиточно отражается та стадия в развитии языка, когда категория одушевленности еще не сложилась, а категория лица охватывала названия лиц только мужского пола» (Русский язык, стр. 309).

В современной лингвистической литературе до сих пор постоянно отмечается, что собирательные числительные могут сочетаться только с личными существительными мужского рода. «Нельзя сказать: *трое портних*»,— пишет Д. Э. Розенталь в «Практической стилистике русского языка» (стр. 138), но тут же добавляет: «Исключения встречаются редко, например: „Семья Зиненок состояла из отца, матери и пятерых дочерей“ (Куприн, Молох)». В другом учебном пособии говорится: *четыре сестрицы*, а не *четыре сестриц* (Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь и др. Современный русский

язык. М., 1966, стр. 215). Вместе с тем в разговорной речи сочетания собирательных числительных с существительными женского рода употребляются широко, они проникают и в печатные тексты. Однако эти сочетания обычно не признаются литературной нормой.

В противопоставлении словосочетаний *пятеро мужчин* — *пять женщин* отражено языковое состояние, уходящее в далекое прошлое. С тех пор, как категория лица распространилась на названия лиц женского пола, стало возможным и сочетание *пятеро женщин*. В настоящее время его нельзя считать ошибочным. Это лишь разговорный вариант литературной нормы, уже не так редко встречающийся в различных стилях современного русского литературного языка. Например: «У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям — пятерым девочкам и трем сыновьям» (Паустовский. Далекие годы); «Их было пятеро подруг, боевая пятерка» (Горбатов. Непокоренные); «Клава требовала позвать как можно больше гостей..., сталеваров — Володиных приятелей, шестерых Клавиных подружек» (Горелик. Обещание); «В списке двое мужчин и пятеро женщин» («Ленинградская правда», 6 сентября 1966).

Видимо, более свободно сочетаются с существительными женского рода собирательные числительные *пятеро* — *десятеро*, поскольку они никогда не были приметой мужского рода в сочетаниях с существительными. Однако можно встретить и такие примеры: «Трое женщин в доме» (Николаева. Фитва в пути). И это уже не речевая ошибка.

Кандидат филологических наук
Г. А. КАЧЕВСКАЯ

Викторина

1. Слова: цирк, циркуль и циркуляция происходят от латинского слова *circus* 'круг'. Но связано ли с ними канцелярское слово *циркуляр*?

2. Что общего в значении слов *регулировать*, *регулярный* и *регламент*? От какого слова они происходят?

3. Слово *галантный*, французское по происхождению, имеет значение 'изысканно вежливый, чрезвычайно обходительный'. Что общего с ним имеют слова *галантерея*, *галантерейный*, и каково было их первоначальное значение в русском языке? Напомним, что еще гоголевский Осип («Ревизор») восклицал: «Галантерейное, черт возьми, обхождение!»

4. Укажите первоначальное значение слова *пресловутый* и корень, от которого образовано это слово.

5. *Брак* 'супружество' и *брак* 'испорченная продукция'. Родственные ли эти слова и откуда они происходят?

6. *Баранина* 'мясо барана', *свинина* 'мясо свиньи' и т. д. А что такое *говядина*? От какого слова происходит это название мяса?

7. Как объясняется непривычная для современного русского языка форма *старче* в «Сказке о рыбаке и рыбке» Пушкина, «Чего тебе надобно, старче?»

8. Что значит *кур-* в слове *курносый*?

9. Что значит *брыс-* в слове *белобрысый*?

(Ответы на стр. 69)

Деепричастные обороты в безличных конструкциях

В предложениях с деепричастием или деепричастным оборотом «субъектом действий или состояний, которые обозначены сказуемым и зависящим от него деепричастием, должно быть одно и то же лицо» (Н. Н. Никольский. Пособие по стилистике и литературной правке. Вып. 2. М., 1956, стр. 131). Это общее положение полностью распространяется и на безличные предложения, в которых субъект мыслится отвлеченно, обобщенно.

В безличных предложениях, по утверждению В. А. Мамонова и Д. Э. Розенталя, деепричастный оборот может относиться только к инфинитиву (Практическая стилистика современного русского языка. М., 1957, стр. 149). Утверждение это не совсем правильно. Деепричастные обороты в безличных предложениях могут относиться не только к инфинитиву. Употребление их надо рассматривать в зависимости от того, какой частью речи выражен главный член безличного предложения.

Деепричастные обороты встречаются:

1. В безличных предложениях, главный член которых выражен глаголом со значением чувствования, восприятия и т. п. (хочется, мнится, чувствуется, думается, верится и под.), причем такие односоставные предложения, являясь главными, всегда имеют при себе придаточную часть, а само деепричастие сохраняет управление: «Взглянув на этот флигель, весь обросший высокими деревьями, даже не верится, что в раннем детстве я мог еще видеть с его крыши верхушки березняка, как весной вода в речке просачивалась синими пятнами из-под белого снежного покрова, а потом и речка разливалась по полю» (Морозов. Повести моей жизни); «Глядя на то, как легко Николай перебрасывает через борт машины шестипудовые мешки с зерном, думается, сколько же у этого человека силы и молодого задора» («Строитель», 18 октября 1964).

Нельзя употреблять обороты с деепричастиями совершенного вида, если при них есть дательный падеж лица (нам, ему и т. п.). Неправильно такое предложение: «Рассмотрев вопрос об успеваемости, нам кажется, что над повышением успеваемости студентов мы работали плохо» (из выступления).

2. В предложениях, главный член которых выражен безличным глаголом в сочетании с инфинитивом, причем деепричастный оборот может относиться или к безличному глаголу или к инфинитиву: «Особенно горько полагалось плакать невесте, садясь в паланкин, в котором ее относили в дом мужа» («Дружба», 1959, № 35); «Тому Голдвину, напоминая кое-где об отце, удалось-таки устроиться» (Казанцев. Гости из Космоса); «По крутому и обрывистому скату ему пришлось ползти, цепляясь за траву и кусарники» (Никитин. Северная Аврора).

3. В предложениях, главный член которых выражен словами категории состояния, если они сочетаются с инфинитивом. Указание на этот случай

есть у Н. Н. Никольского (указ. соч., стр. 134). Однако он не называет слова типа *надо, нужно, необходимо, можно, нельзя* и др. словами категории состояния и употребляет их в одном ряду с глаголами *следует, хочется* и т. п.: «Изучив большое количество примеров, можно утверждать, что заголовочек — это прежде всего предложение и оно может иметь любую синтаксическую структуру» (из научной статьи); «Таким образом, не претендуя на абсолютную точность положения, надо принимать, что большие полушария являются главнейшим органом условных рефлексов» (из лекции академика И. П. Павлова).

Деепричастные обороты употребительны и в случаях, когда в безличных предложениях вместо модального слова категории состояния, или предикатива (надо, можно, нужно, необходимо и др.), используется синонимичный по значению глагол *следует, надлежит, подобает* и под.: «*Как видим, получается, что в состав основы, отделив окончание, следует включить и морфемы словообразования и неизменяемые морфемы, выражающие грамматические значения*» («Русский язык в школе», 1966, № 5); «Создавая пьесу, надлежит стремиться, чтобы все действующие лица отличались завершенностью и запоминающейся выразительностью» (из критической статьи).

Когда в роли главного члена выступает слово категории состояния, омонимичное существительному (тоска, досуг, время, пора и под.), допустимы только обороты, в которых деепричастие десемантизировалось и стало частью фразеологического оборота или предлога вроде *несмотря на..., судя по..., собственно говоря* и др.: «Тоска, несмотря на занятия, несмотря на внешнее спокойствие, на прекрасную погоду» (Гончаров. Фрегат «Паллада»); «Не считая незначительных увеселений, в общем-то скука жить здесь, особенно осенью...» (из письма).

Если слово категории состояния не сочетается в предложении с инфинитивом, употребление деепричастных оборотов недопустимо. Нельзя, например, строить предложения так: «Работая под знойными лучами тропического солнца, им было невыносимо тяжело» (изложение ученика); «Выключив свет, мне стало очень страшно» (из сочинения). Не употребляются деепричастные обороты и в предложениях, в которых главный член выражен безличным глаголом (светает, морозит, тошнит и под.).

4. В предложениях, главный член которых выражен личным глаголом в безличном значении. Такие случаи в книжной речи довольно редки. Нам встретилось всего два таких примера: «Вращением воды кидало фрегат из стороны в сторону, прижимая на какую-нибудь сажень к скалистой стене острова, около которого он стоял, и грозя раздробить как орех и отбросить на середину бухты» (Гончаров. Фрегат «Паллада»); «Ветром сдувало листья, бросая их под ноги прохожим» (телепередача).

Такое употребление деепричастных оборотов можно считать нормальным, так как здесь не нарушается основной принцип применения их: и сами глаголы и относящиеся к ним деепричастия в этих предложениях обозначают принадлежность действия одному, хотя и отвлеченно мысленному, деятелю. Заметим, что это мнение разделяют не все лингвисты.

В заключение следует сказать, что деепричастные обороты, по нашим наблюдениям, имеют тенденцию к более широкому употреблению, чем это отражено в учебных пособиях по стилистике. Это относится не только к

односоставным безличным, но и к двусоставным личным предложениям. Еще Д. Н. Овсяннико-Куликовский заметил, что «границы употребления деепричастий поемному расширятся», особенно «в народных диалектах» (Синтаксис русского языка. Изд. 2. СПб., 1912, стр. 74). Деепричастный оборот сейчас может свободно употребляться в двусоставных предложениях при инфинитиве, что очень редко наблюдалось в литературных источниках XIX века: «На нем [физиологе] лежит постоянная обязанность, опираясь на теперешние успехи естествознания..., стараться изыскивать для этой же цели другие приемы»; «Таким образом, цель — удалив часть полушарий, видеть исчезновение функций удаленной части из общей нормальной деятельности полушарий» (оба примера — из лекции академика И. П. Павлова — см. в книге А. Н. Гвоздева «Очерки по стилистике русского языка». М., 1955, стр. 253); «Строить, не считаясь ни с трудностями, ни с затратами, — это наш святой долг перед Родиной» (из выступления).

Вместе с тем нельзя не заметить, что стали неупотребительны в наше время деепричастия и деепричастные обороты с устаревшими глагольными формами вроде *знав, видев, слышав, служив* и под., например: «Не быв никогда человеком очень большого света, он [отец] всегда водился с людьми этого круга...» (Л. Толстой. Детство).

В. М. ПАНФИЛОВ,
доцент Астраханского пединститута

Викторина

(Ответы)

1. Слово *циркуляр* также восходит к латинскому слову *circus*, точнее к производному от него прилагательному *circularis* 'круговой'. *Циркуляр* обозначает 'письменное распоряжение', 'обходящее' всех подчиненных как бы по кругу.

2. У этих слов общий источник: латинские *regula* 'правило', *regulare* 'подчинять определенному правилу, порядку'.

3. Первоначально слово *галантерея* (французское *galanterie*) обозначало 'галантность' *галантерейный* 'галантный, вежливый, обходительный'.

4. *Пресловутый* образовано с помощью усилительной приставки *пре-* от древнерусского слова *словутый* 'знаменитый' (ср. белорусское *славуты*). *Словутый* того же корня, что *слыть, слава*.

5. Эти слова не имеют по происхождению ничего общего и лишь случайно сошли по звучанию. *Брак* 'супружество' — древнерусское слово, образованное от глагола *брати*, первоначально означало 'взятие', ср. выражение *брати в жены*. *Брак* 'испорченная продукция' заимствовано в эпоху Петра I, из немецкого языка (ср. современное немецкое *brechen* 'ломать, портить').

6. Слова *говядина, говяжий* образованы от древнерусского слова *говядо* (*говядо*) 'бык', шире 'крупный рогатый скот', которое не сохранилось в языке.

7. *Старче* — форма особого, «звательного» падежа, седьмого падежа в древнерусском склонении. Эту форму сейчас можно встретить только в некоторых словах, например, *княже, боже, отче*.

8. Первоначально слово звучало *корноносый*. В первой части был тот же корень *корн-*, что и в слове *обкорнять* 'укоротить'.

9. Старое значение этого слова 'белобровый'. *Бры* по-древнерусски 'бровь', *-с-* — суффикс. Материал подготовлен Л. Е. Лопатиной по письмам читателей.



Москвич —

МОСКВИЧИ

До сих пор известны такие наименования жителей Москвы: москвлянин (москвляне), москвитин, москвитянин (москвитяне), московец (московцы), москвич (москвичи). Добавим сюда редкое — московит (московиты) — с более широким, чем *житель города*, содержанием, а также шуточно-неодобрительное тоже с более широким содержанием — москаль (москальи). Сюда же примыкают составное наименование с социальным оттенком — московский человек (московские люди). Наконец, названия жилищниц Москвы: москвлянка, московка, москвитянка, москвичка.

В книге «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Т. I — Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного...» (М., 1964) сказано, что «в древнерусском языке употреблялись формы *москвитин, москвитянин* и *москвич*. Раньше других, к началу XVIII века, выходит из употребления форма *москвитин...*».

Одно из наиболее древних названий — москвлянин — обычно выводят из упоминаемой в Ипатьевской летописи под 1176 годом формы множественного числа: «Москвляни (вариант — москвляне) же слышавше оже идеть на не Ярополк и възвраща-

тившиися въспясть» (список XV века). Это название рано выходит из активного употребления. Правда, слова *москвлянин, москвляне, москвлянка* встречаются в современной литературе, например, в исторической повести Г. П. Блока «Москвляне» (М., 1965).

Название *москвитин* встречаем в памятниках XIV века. Форма единственного числа создавалась посредством суффикса *-итин*, который образовывал и другие формы, например: *псковитин, тверитин, костромитин* и т. д. Этот суффикс состоит из двух очень древних суффиксов *-ит* и *-ин*. Первый указывает на отношение, принадлежность к определенному месту (ср. названия минералов *байкалит, курскит*, также наименование жителя *одессит*), а *-ин* служит для обозначения единичности лица (ср.: *мордва — мордвин, литва — литвин, греки — гречин, турки — турчин* и т. д.). Он происходит от количественного числительного *инь*, которое употреблялось обычно в сложных словах и было синонимично с *один* (например, *единорог — инорог, единожды — иньгда* и т. д.), *-ин* не входит в формы множественного числа. В древнерусском языке *-итин* был уже отдельным словообразовательным элементом. Имеется такая запись: «Един же некто москвитин

сукодьник Адам именем ... отмети единого татарина» (Московский летописный свод конца XV века 1382 года).

В памятниках той же эпохи обычна форма множественного числа *москвичи*, образованная при помощи суффикса

-ичи: «А от князя Володимера Андреевича воевода бе Окинф..., а сними *москвичи*...» (там же, 1366 год). Здесь же встречаем: «...пзгопиша *москвичи* сторожевой полк литовской и биша их»; или еще: «И тако татарове Новгород Нижний взяша, октября 25, и пребыша ту 2 недели дондеже услышаша, что *москвичи* хотят ити на них, ратью...» (Новгородская IV летопись, 1395 год). В материалах XIV века встречаем также *псковичи*, *тееричи*, *костромичи* и т. д.

Формы *москвитин*, множественное число *москвичи* употреблялись также и в XV—XVII веках в летописях, актах, грамотах, указах: «А людей вы наших, *москвитина* и новгородца, блюсти, как и своих» (Грамота 1462 года.— Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.); «...*москвитин* удари немчина по главе саблею...» (Псковская первая летопись); «Приехал из Вязьмы *москвитин* торговый человек Ивашка Лехов» (1632 год.— Акты Московского государства); «В роспросе сказал, родиною де он *москвитин*...» (1672 год.— Акты исторические); «Явил *москвитин* Порфирей Понкратьев воску 5 пуд» (1670 год.— Таможенная книга Тихвинского монастыря, № 334); «Дано извощиком *москвичам* шестия человеком... 36 алтын» (1573 год.— Приходо-расходная книга Волоколамского монасты-

ря, № 2); «поляцы же ополчением жестоким нападаша на *москвич*...» (1626 год.— Русская историческая библиотека. Т. XVII); «...а *москвичи* де посадские люди, лучшие и мелкие, все принялись и хотят стоять...» (1611 год.— Материалы нижегородской ученой архивной комиссии. Вып. XI).

Слово *москвичи* иногда употреблялось в значении 'русские', что отражает возросший авторитет Москвы на Руси в то время: «Бысть побоище велие *москвичем* с литвою под городом под Оршею, и вскричаша и возопиша жены оршанки на трубы московские, и слышати было стук и грому великому между *москвич* и литвою» (Псковская первая летопись, 1453 год).

В северновеликорусских и московских памятниках XVII века господствует форма единственного числа *москвитин*. В южновеликорусских источниках этого времени встречается также название *москвич*.

В официальных документах слово *москвитин* употреблялось и в XVIII веке, но уже как одна из параллельных форм. В Петровскую эпоху еще придерживались традиционных форм *москвитин* — *москвичи*. Русские лингвисты XVIII века М. В. Ломоносов, А. А. Барсов и многие составители грамматик в первую очередь отмечают форму *москвитин*. Например: «Имена в отечественных избыточествуют: Москва, *москвитин* и *москвич*; Кострома, *костромитин* и *костромич*...» (М. В. Ломоносов. Российская грамматика. СПб., 1755, § 235). В рукописной «Российской грамматике» А. А. Барсова (1785, ленинградский список) форме *москвитин* уделяется несравненно боль-



ше внимания, чем параллельным названиями *москвич* и *москвитянин*. Аналогичную оценку форме *москвитин* дает и А. Х. Востоков в «Русской грамматике по начертанию его же сокращенной грамматики полнее изложенной» (СПб., 1831).

Название *москвич* проникло в литературный язык из разговорной речи южновеликорусов. Это выясняется из сопоставления однотипных источников, относящихся к разным территориям и написанным почти в одно и то же время.

СЕВЕРНОВЕЛИКОРУССКИЕ ПАМЯТНИКИ

В таможенных книгах Устюга Великого, Соли Вычегодской и Тотьмы (1633—1678 годы) жителя Москвы называют *москвитин*ом 328 раз (см. также *костромитин* — 114, *пермитин* — 36 и т. д.), но ни одного названия единственного числа на *-ич* не обнаружено.

МОСКОВСКИЕ ПАМЯТНИКИ

В книгах московской Большой таможи (1693—1694 годы) зафиксировано *москвитин* — 5 раз, *ржевитин* — 19, *псковитин* — 22 и т. д. Формы единственного числа на *-ич* не отмечены.

ЮЖНОВЕЛИКОРУССКИЕ ПАМЯТНИКИ

В Приходо-расходных книгах Воронежского архиерейского дома времён св. Митрофана (1699—1704 годы) в записях 1699 года: «Дано москвичу Босманной слободы серебрянику Якову Михайлову сыну Боровкову... по 4 алт.»; «Дано москвичу Оружейной Полаты резного деревянного дела мастеру Михайлу Иванову сыну Снятковскому... денег 50 рублев.»; «Куплено к столу 10 лимонов

у москвича Семена Еврейкина, дано 10а.»; «Дано москвичу портному мастеру Ивану Арефьеву, за работу, что он шил архиерейские ризы вновь, а другие починивал, 10а.»; «Куплено у москвича Андреева прикащика Тимофеева Ивана Микитина в сборную церковь 2 пуда ладону белава». И в других воронежских материалах формы *москвитин* и *москвич* смешиваются. В указанных книгах отмечены еще названия *костромич*, *борович*.

Под влиянием формы *москвичи* или отчеств на *-ич* единственное число *москвич* могло бы появиться и ранее XVIII века, так как выравнивание разных форм не было для этого времени новым явлением. Очевидно, определенную роль сыграла традиционность формы *москвитин*. Может быть, мешала и другая причина. В Московской Руси отчествам на *-ич* придавалось большое социальное значение. Такое отчество носили только царь, великие князья, князья, бояре, казначеи, окольничие. Присвоение или лишение отчества на *-ич* требовало личного вмешательства государя. См., например, царский указ от 11 августа 1649 года «О писании в грамотах и памятях убитого окольничего П. Т. Траханиотова с „вичем“». В 1648 году был казнен окольничий Петр Траханиотов. Брат его Иван обратился к царю с челобитной, жалуясь, что имя его брата, убитого без вины, в царских грамотах и памятях упоминается без „вича“. Он просит, чтобы государь «...его пожаловал, велел брата его Петра в своих государевых грамотах и памятях писать попрежнему своему государеву жалованью окольничим с „вичем“, чтоб ему Ивану и роду его ввек перед своею братьею в позоре не быть». Просьба Ивана была удовлетворе-

на: его брат Петр был восстановлен (посмертно) в прежних правах писаться с «вичем» (Акты Московского государства). Следует добавить, что такой закон действовал лишь в московском приказном языке. На юге эту традицию не признавали. Характерно, что в поступавших с юга донесениях, отчества на *-ич* в Москве переписывались с пропуском суффикса *-ич*.

Названия по месту (обычно у низшего сословия) и отчества на *-ич* (только у социальной верхушки) обязательно указывались в разного рода записях. Возможно, что оформление их посредством одного и того же суффикса *-ич* не вполне отвечало годдашной «норме».

Помимо пары *москвич* — *москвичи*, некоторое время выступала другая — *москвитин* — *москвитяне*. О существовании этих форм свидетельствует А. А. Барсов в «Российской грамматике»: «Некоторые нарицательные також отечественные кончающиеся на *-ин* делают именительный множественный, переменяя окончание родительного единственного *-ина* на *-е*, например, *христианина, христиане*... Но когда перед *-ин* находится буква *т*, то окончание *-ина* родительного единственного в именительном множественном переменяется на *-яне*, как: *москвитина, костромитина, тверитина, псковитина, серпуховитина; москвитяне, костромитяне, тверитяне, псковитяне, серпуховитяне*». Данное явление отразил и А. Х. Востоков в «Русской грамматике»: «От имен городов *Москва, Кострома, Псков, Тверь* произведенные нарицательные для означения жителей или уроженцев сих городов в единственном числе кончаются на *-итин*, но во множественном принимают окончание *-итяне*, как бы произведенные были от единственного *-итянин*;

москвитян, костромитин, псковитин, тверитин; москвитяне, костромитяне, псковитяне, тверитяне» (стр. 51). Обращает внимание место ударения: *москвѣтин, москвѣтне* (впоследствии: *москвитянин, москвитяне*), что подтверждает мысль об образовании формы *москвѣтне* от основы *москвѣтин*. Во второй половине XIX века такая пара не существовала. «При множественном числе *москвитяне, тверитяне, псковитяне* Барсов в своей грамматике полагает единственное число *москвитин* (вместо *москвѣтнин*), *тверитянин, псковитянин*...», — замечает Ф. И. Буслаев в «Исторической грамматике русского языка» (изд. 5. М., 1881, стр. 241). Значит, в то время были формы *москвитянин* — *москвитяне*. В процессе употребления форм *москвитин* — *москвитяне* произошло выравнивание единственного числа по множественному, т. е. при *москвитяне* выступало *москвитянин*, после чего *москвитин* выходит из употребления. Однако названия *москвитянин* — *москвитяне* устарели, не получив сколько-нибудь широкого распространения, видимо, по той причине, что были созданы дополнительно к формам *москвич* — *москвичи*, которые утвердились в качестве нормативных и в большей мере отвечали тенденциям развития словообразовательной системы русского языка.

Недолговечной была форма *московец* — *московцы*. Она встречается у русских историков и языковедов XIX века, например: «И когда прежние их противники, московцы явились, то не каменьями их встретили, — со слезами у них прощения просили» (Н. Костомаров. Севернорусские народопроставы во времена удельно-вещевого уклада. — Сочинения. Т. 1. СПб, 1863, стр. 197). Форму *московец* см. также: «Российская

грамматика, сочиненная Императорскою российскою Академиею» (СПб., 1802, § 107); Г. П. Павский. Филологические наблюдения над составом русского слова. 2-е рассуждение: об именах существительных (СПб., 1842, стр. 116). Название *московец* — *московцы* исчезло уже в XIX веке.

Наименования жителей Москвы почти не отразились в древних памятниках: *московка* — «Того же дни устюжанин Елисей Онисимов, московка Устинья Ондреева дочь... платили по 5 д...» (1635 год.— Таможенная книга г. Тотьмы), *москвитянка*, *москвичка*.

Составные наименования *московский человек*, *московские люди* обычно прилагались к низшим чинам, рядовым гражданам, солдатам, например: «...сего числа великий государь изволил смотрит в Семеновском всех московских людей...» (С. И. Котков, Н. П. Панкратова. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века. М., 1964); «Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью» (В. И. Даль. Пословицы русского народа. М., 1957).

Прозвище *москаль* — *москаля* употреблялось раньше у поляков, белорусов и украинцев по отношению к представителям Московского государства, также и в значении 'солдат': «Знает сам москаль дорогу, а спрашивает...» (малорусское), и еще: «Мамо, черт лезет в хату! Дарма, дочка, абы не москаль. От черга открестисься, а от москаля и дуби-

ной не отобьешься» (В. И. Даль. Пословицы русского народа).

Название *московит* — *московиты* встречается чаще всего в переводах с иностранных языков, где этим именем обозначаются представители Московского государства, или Московии, как еще называли Россию. В некоторых документах под словом *московит* подразумевается Московское государство, например: «Если московит и поляк смогут примирить свои старые ссоры и могут совместно напасть на это государство,— писал французский посол в Турции,— их силы будут более опасны, чем все христианские принцы совместно» («Путешествия русских послов XVI—XVII вв.» М.—Л., 1954, стр. 380). В современном языке *московит* — *московиты* употребляются очень редко, обычно как стилистическое средство создания древнего и иноземного колорита в произведениях художественной литературы, публицистике и т. д., например: «И ты, молодой москвич,... подойдешь к могиле Неизвестного Героя... Подумай о том, над чьим прахом не угасает пламя. Кто он? Откуда? С Арбата, из Измайлова, с Ордынки, с Пироговки? А может быть, из Сибири, из Горького, из Донбасса или Одессы? В любом случае он — твой земляк. Ведь недаром в истории всех нас так и называли — московиты» («Неделя», 1966, № 49).

А. А. АБДУЛЛАЕВ,
аспирант МГПИ им. В. И. Ленина

**В следующем номере читайте статью
члена-корреспондента АН СССР Ф. П. Филина
«У истоков русского языка»**

АРЗАМАС



В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера читаем: «Арзамас — областной центр Арзамасской области (ранее уездный город в Нижегородской губ. ...). По мнению Паасонена... город называется на мордовском-мокшанском языке *Eřzamas* от *eřza* 'эрья'-мордвин?'... и т. д.». Нам такое обозначение кажется маловероятным. Название происходит, по-видимому, от мордовского личного имени Арземас или Арзамас, Орземас, которое неоднократно встречается в писцовых книгах и других источниках истории Среднего Поволжья, особенно в XVII веке. Среди мордвы того времени бытовало много подобных имен: Инемас, Вечкомас, Полдомас и т. п. Можно предположить, что город был назван по имени владельца или первого поселенца. Использование собственных имен в названиях населенных пунктов — вообще явление переднее. В той же Мордовии, например, есть села Полдомасово (от Полдомас), Арземасово и другие.

Сейчас эти наименования — в основе своей чисто мордовские — прочно вошли в общерусское употребление, как и многие другие местные имена неславянского происхождения на территории РСФСР.

Заметим, что в одном из произведений Н. С. Лескова действительно существующее село Полдомасово превращено в Плодомасово («Старые годы в селе Плодомасове»), что придало названию более отчетливую русскую окраску.

Собственное имя Арзамас имеет в основе эрянское *арсемс*, мокшанское *арьсемс* 'думать', 'желать', 'пожелать', и, следовательно, может быть переведено на русский язык как 'желанный'. С племенным именем эрья оно не имеет ничего общего.

Название Арзамаса сыграло заметную и довольно своеобразную роль в истории русского языка и литературы. Своей известностью оно обязано литературному обществу «Арзамас» (1815—1818). Возникновение этого общества, или кружка, бы-

ло, как известно, вызвано стремлением «карамзинистов» отразить нападку со стороны участников «Беседы любителей русского слова» — общества, основанного адмиралом А. С. Шишковым и официально одобренного Александром I. Целью «Беседы» была защита «славяно-русского» псевдоклассицизма, старых ломоносовских норм изящной словесности, — в противовес новым приемам Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского и других. Как писал впоследствии известный декабрист Н. И. Тургенев («Россия и русские»), «Арзамас» существовал «для осмеяния старого направления в литературе». Кружок никогда не был оформлен официально, хотя и носил в устах его участников шутовское прозвище «Арзамасской академии». Почему же он получил именно это название?

Незадолго до того живописец, меццанин города Арзамаса Нижегородской губернии Александр Васильевич Ступин (1775—1861), окончив курс в Академии художеств в 1805 году, вернулся в свой родной город и устроил там первую в истории России частную рисовальную школу. Вскоре ее официально признала Академия художеств и приняла под свое покровительство, причем Ступин был удостоен звания академика. Необыкновенная в уездных масштабах деятельность А. В. Ступина привлекла внимание одного из карамзинистов — Д. Н. Блудова, впоследствии известного государственного деятеля. Поэтому, когда со стороны шишковского общества «Беседа» появилась комедия князя Шаховского «Урок кокеткам или Липецкие воды», высмеивающая В. А. Жуковского («балладника Фиалкина»), Д. Н. Блудов в ответ сочинил «Видение в арзамасском тракти-

ре...», противопоставив, таким образом, Арзамас Липецку, нижегородский уездный город — тамбовскому. Так как участники «карамзинского» кружка называли рисовальную школу А. В. Ступина «Арзамасской академией», решено было назвать этим же именем и самый кружок, сокращенно: «Арзамас». В состав «Арзамаса» входили Д. Н. Блудов, носивший прозвище «Кассандра», К. Н. Батюшков («Ахилл»), поэт-партизан Д. В. Давыдов («Армянин»), В. А. Жуковский («Светлана»), А. С. Пушкин («Сверчок»), братья А. И. и Н. И. Тургеневы («Эолова арфа» и «Варвик») и ряд других лиц (прозвища давались по мотивам баллад Жуковского). Сам Н. М. Карамзин непосредственного участия в заседаниях «Арзамаса» не принимал, числясь только почетным членом; в то же время он официально являлся членом «Беседы любителей русского слова».

Частный и отнюдь не пользовавшийся покровительством со стороны властей кружок «Арзамас» сыграл большую роль в истории создания русского национального языка и русской литературы, так как в нем сосредоточены были лучшие культурные силы общества, начавшие успешную борьбу с реакционными стремлениями «шишковистов».

Заметим, что эмблемой Арзамаса был гусь, так как Арзамасский уезд славился своими гусями. В романе И. С. Тургенева «Дым» один из его персонажей Ростислав Бамбаев говорит: «Русь, экая эта Русь! Посмотри хоть на эту пару гусей: ведь в целой Европе нет ничего подобного! Настоящие арзамасские!».

Тем не менее, несмотря на достоинство арзамасских гусей, являвшихся результатом скрещивания

отечественных пород с восточными (китайскими), И. С. Тургенев считал Арзамас провинциальным захолустьем; в том же романе мы встречаем «даму, родом прямо уже из Арзамаса» с французским выговором, напоминающим о ее нижегородском происхождении; сравните у А. С. Грибоедова в «Горе от ума»: «...Здесь нынче тон каков? На съездах на больших, по праздникам приходским. Господствует еще смешенье языков: французского с нижегородским?». Таким образом, нижегородский и, в частности, арзамасский говор считался, повидимому, особенно характерным выражением захолустного провинциализма. Ту же мысль об отдаленности, захолустье содержит и известная народная поговор-

ка: «Один глаз на нас, а другой в Арзамас» (вариант: «на Кавказ»). Вспомним и еще присловье: «арзамасцы-лукоеды», «арзамасцы-гусятники».

Что касается арзамасской художественной школы, основанной А. В. Ступиным, то она дала, кроме многочисленных преподавателей рисования и иконописцев, нескольких крупных художников (Н. М. Алексеев, И. П. Горбунов, В. Е. Раев).

Таковы в кратких чертах достаточно многообразные связи первоначально мордовского названия города Арзамас с русским языком, литературой и искусством.

Доктор филологических наук
А. И. ПОПОВ

«У ЖЕНЫ ПОД БАШМАКОМ»

Мужчинам, которые подчиняются своим женам, обычно говорят: «Ты у жены под башмаком». Но немногие знают, откуда происходит это выражение. Однажды, в средневековье, был устроен грандиозный рыцарский турнир под знаком примирения между папой римским и императором Германии, которые продолжительное время были друг с другом во вражде. Каждый участник турнира должен был иметь на груди символический знак. Все папские и императорские дворяне сделали необходимые приготовления. Только непобедимый рыцарь Полоний решительно отказывался от участия в турнире. В день турнира юная жена Полония предприняла последнюю попытку переубедить своего упрямого супруга. Но ее усилия оказались напрасными. Разгневанная, сняла она свою домашнюю туфлю и начала ею «обрабатывать» своего сильного, как медведь, мужа. «Пришпоренный» этой домашней взбучкой, Полоний быстро надел свои железные доспехи и повесил расшитую золотом домашнюю туфлю на грудь как рыцарский знак. Он сел на коня, который вынес его галопом на арену. Когда дежурившие там герольды попросили объявить им его знак, он ответил, смеясь: «Под башмаком».

Т. Д. АУЭРБАХ

Васильевский остров



Название «Васильевский остров» известно далеко за пределами Ленинграда. На Васильевском острове находятся крупнейшие заводы и предприятия, культурные и научные учреждения города. Какова же история этого названия?

До основания Петербурга этот остров назывался Хирвисаари, что по-фински означает «Лосинный остров». Некоторые историки считали, что здесь в ту пору действительно водились лоси. Следует, однако, заметить, что финны вообще имели обыкновение прибегать в географических обозначениях к именам животных. Например, название Заячьего острова, где находится знаменитая Петропавловская крепость, произошло от финского Енисаари, что тоже значит «Заячий остров».

Относительно названия Васильевский остров (первоначально Васильев) ходило немало легенд. Говорили, например, о рыбаке Василии, якобы жившем на острове до основания города. Историк А. И. Богданов в книге «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга с 1703 по 1751 год» (СПб., 1779) привел рассказ о капитане-артиллере Василии Корчмине, который командовал отрядом в шанцах (укреплениях) на этом острове. Приказы, которые посылал Петр I капитану Корчмину, судто бы снабжались лаконичной надписью: «Къ Василью на островъ». Эта версия о капитане Корчмине была подхвачена другими историками Петербурга и получила широкое распространение. Ее можно слышать даже в наши дни.

В действительности название острова ведется с допетровских времен. В старинном документе — Переписной окладной книге Водской пятинны 1500 года (Водской пятинной называлась северная часть новгородских владений) — при перечислении сел, починков и усадищ, расположенных по берегам Невы, упоминается «Василевъ островъ». Такое наименование встречается и в других писцовых книгах Ижорской земли (см. подробнее: А. И. Попов. Из прошлого Васильевского острова. — «Научный бюллетень ЛГУ», 1948, № 21).

Кто же был этот Василий, имя которого сохранилось в современном названии? К сожалению, на этот вопрос история не может дать ответа, как и в других подобных случаях.

Известно, что в середине XV века новгородские посадники Василий Казимир (или Казимер), Василий Селезень по прозвищу Гуда и Василий Анавбин владели участками в северной части новгородских земель. Однако от кого из них (или от какого-то другого Василия) пошло название острова, достоверно утверждать нельзя.

Следует заметить, что в XVIII веке были попытки заменить название острова. Так, одно время его именовали Княжеским, или Меншиковым,— по фамилии владельца князя А. Д. Меншикова. При Петре II был издан указ наименовать остров Преображенским (туда предполагалось перевести гвардейский Преображенский полк). Однако эти названия не прижились.

Итак, название «Васильевский остров» — одно из старейших в Ленинграде. Ему, вероятно, около пятисот лет.

Кандидат филологических наук
К. С. ГОРБАЧЕВИЧ

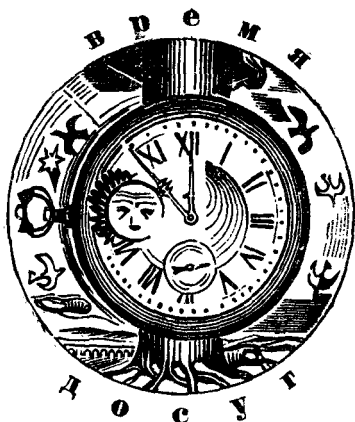
СЖЕЧЬ КОРАБЛИ

Возникновение этого крылатого выражения нередко датируется началом XVI века. Говорится, что испанец Фернандо Кортес 26 июля 1519 года, будучи в Мексико, раскрыл заговор. Испанцы хотели вернуться на родину. Чтобы сделать это невозможным, Кортес приказал сжечь испанские корабли, на которых его войска высадились в Мексико. Об этом в 1792 году вспомнил конвент республиканской Франции, призвавший народ к бдительности в отношении угрозы со стороны Англии. «Помните, — призвал конвент, — о Кортесе, сжигающем корабли на глазах своей армии!»

Между тем, весь этот рассказ, как утверждает Георг Бюхман в своих «Крылатых словах», — легенда. Что же касается крылатого слова, то его происхождение куда более древнее. Автор его — грек Плутарх (46—120 гг. до н. э.). В книге «О женской добродетели» в разделе «Троянки» Плутарх рассказывает, что после падения Трои в XII веке до н. э. некоторым троянцам удалось спастись на корабле и отплыть в Италию. Они высадились в местности к западу от того места, где сегодня находится Рим. Мужчины хотели плыть дальше, женщинам же здесь настолько понравилось, что они решили остаться. А чтобы мужчины тоже остались, женщины сожгли корабли.

С тех пор это выражение означает: принять смелое решение, после которого нет уже возможности отступить, отрезать себе возможность отступления. Синонимом являются слова, приписываемые Юлию Цезарю: «Жребий брошен!» или «Перейти Рубикон!»

Т. Д. АУЭРБАХ



Заметки о словах

СЕЙЧАС, ТОТЧАС

Разница в значениях между наречиями *сейчас* и *тогда* трудно уловима. *Сейчас* употребляется в значении 'в настоящий момент', 'теперь, сразу': «Если позволите, я приду потом. А сейчас — не могу!» (Горький. Дачники); «Клим стоял..., эжидая, что сейчас разразится скандал» (Горький. Жизнь Клима Самгина); «Сейчас же извинийся в своем поступке!» (Вересаев. Два конца). *Тогда* более известно в значении 'сразу, немедленно': «Я, сколько ни любил бы вас, Привыкнув, разлюблю тогда» (Пушкин. Евгений Онегин); «Я тогда запечатал письмо, чтобы не перечитывать» (А. Н. Толстой. Лихорадка); «Как только Денисов улыбнулся ему, Петя тогда же просиял, покраснел от радости» (Л. Н. Толстой. Война и мир). В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» замечает, что «в Москве *сейчас* говорят вместо *теперь*, *в настоящее время*». Отсюда пошло выражение: «Не тогда, а теперь же» (т. е. *сейчас же*).

Общая часть обоих наречий — существительное *час*, которое здесь в отличие от современного значения этого слова 'промежуток времени, равный 60 минутам, и соответствующая единица измерения времени' употребляется в значении 'миг, момент'. Это значение слова *час* было древней-

шим. Оно обнаруживается также в диалектном наречии *часом* (из формы творительного падежа единственного числа), например: «Часом сходи за водой!», т. е. *сейчас же*, не медля (новгородское, пермское).

Наречия *сейчас* и *тогда* получились из древних сочетаний местоимений *сь* и *тъ* со словом *часъ*, ср. примеры из рукописи XI века: «я въставъ въ ть часъ иде» (встав тогда — тут же — пошел); «обличи... силж... въ сь часъ» (выяви... силу... сейчас — теперь же).

В общеславянском языке, как и в других древних языках, родственных славянским, различалась трехчленная система указательных местоимений: *сь* 'ближайший'; *тъ* 'находящийся недалеко'; *онь* 'отдаленный'. Как видно, в наречиях *сейчас* и *тогда* сохранились следы трехчленной системы, поэтому *сейчас* употребляется в значении 'тут же, теперь же' и преимущественно сочетается с глаголами настоящего времени и повелительного наклонения, а *тогда* в значении 'сразу, немедленно' — с глаголами прошедшего и будущего времен.

ЧАС

Это слово, по «Краткому этимологическому словарю русского языка» Н. М. Шанского, В. В. Иванова, Г. В. Шанской, образовалось присоединением суффикса *-съ* к предшедшему до нас глаголу **ча* (*чи*), который изменился в *чаяти* 'ожидать'. Такое истолкование происхождения

слова *časъ* принадлежит чешскому профессору А. Зубатому, писавшему об этом еще в 1894 году в немецком журнале «Archiv für Slawische Philologie» (т. 16). Думается, что оно не соответствует действительности, поскольку древнейшим значением этого слова является не 'время' или 'ожидание', а 'миг, момент', Вернее предположение, что слово *časъ* родственно глаголу *коснуться* — *касаться*, где корень *кас-* чередовался с * *kēs-*, который как установлено (ср. *кричати* из * *krikēti*), в результате фонетического изменения давал *časъ*. *Коснуться* — акт кратковременный, моментальный, отсюда и понятно значение 'момент, миг' у родственного слова *časъ*.

Как отмечено выше, в своем древнейшем значении слово *časъ* сохранилось только в наречиях *сейчас, тотчас, часом*. В остальных случаях оно, расширив свое значение, в русском языке стало обозначать 'отрезок или мера времени', а в украинском, польском, чешском и других славянских языках — 'время': ср., например, украинское «не маю часу» (у меня нет времени).

В русском языке существует два вопроса с целью узнать конкретное время в принятом измерении: *который час?* и *сколько времени?* Первый из них — *который час?* — употребителен больше на юге, поэтому его встречаем у писателей-южан: И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. А. Шолохова и других. Вероятно, этот вопрос появился под влиянием украинского: *котора година?*, в свою очередь восходящего к польскому *która godzina?*

К северу от Москвы обычно спрашивают: *сколько времени?* Чтобы понять, откуда происходит этот вопрос, необходимо предварительно остановиться на самом слове *время*.

ВРЕМЯ

Это слово произошло путем присоединения суффикса *-мен* к основе глагола *верт(еть)*. Формы *время* — *времени* такого же типа, как: *пламя* — *пламени*, *стремя* — *стремени*, *бремя* — *бремени* и т. п. В общеславян-

ском языке слово должно было иметь форму * *vert-men*, в дальнейшем его звучание изменилось в соответствии с действовавшими в ту эпоху фонетическими законами. В древнее время слоги не могли оканчиваться на согласный звук, поэтому конечное *-en* в суффиксе *-men-* перешло в носовой гласный *а* (*ε*), а звук *t* выпал так же, как в слове *румяный* (из * *rud-men*, ср. украинское *рудий* 'рыжий, красный?').

Сочетание *-er-* в южнославянских языках (в том числе, в старославянском) изменилось в *-er-* (*-rǫ-*), а в восточнославянских — в полногласное сочетание *-ere-*. Таким образом, * *vert-men* в русском языке дало *время*, которое не сохранилось, так как было вытеснено употребительным в книжном языке старославянским словом *врѣма* (время). Но слово это с полногласным сочетанием есть в говорах украинского языка: *веремий, веремия* 'кутерьма, суматоха, смятение', *веремя* 'хорошая или плохая погода'; в значении 'погода' слово *время* употребительно и в южнославянских языках.

Значение украинского диалектного слова является древнейшим и указывает на непосредственную связь с глаголом *вертеть*. По-видимому, * *vert-men* должно было иметь значение 'то, что вертится', т. е. 'кутерьма', 'суматоха', отсюда по отношению к состоянию погоды — 'непастые', затем вообще 'погода'.

В древнерусском языке, как и в старославянском, слово *время* (*врѣма*) употреблялось в значении 'пора, определенный ограниченный отрезок времени'; ср. в древнерусской рукописи XI века, называемой Остромирово евангелие: «въ оно врѣма петръ вставъ тече къ гробоу» (в ту — далекую — пору Петр, встав, побегал к могиле); в летописи: «иде Давидъ Святославичъ ... по Мъстислава Володимерича ... в се же время приде Изславъ сынъ Володимеръ из Курска к Мурому» (ушел Давид Святославич... за Мстиславом Владимировичем... в ту же пору пришел Изяслав сын Владимира из Курска в Муром). Это значение слова *время* сохраняет производное от него прилагательное *временный*, которое в современном языке имеет только значение 'непостоянный, преходящий, от-

носящийся к известной поре³. Более абстрактное значение слова — 'мера длительности всего происходящего, существующего' развилось позже, ближе к нашему времени, в языке науки.

Вопрос: сколько времени? — произошел в русской народной речи, по типу: сколько годов? сколько лет? Этим объясняется, что рекомендуемое словарями для литературного употребления: который час? — в севернорусских областях не прививается.

ДОСУГ

Время, свободное от работы, занятий, каких-либо дел, называется *досугом*, ср.: «Работе время, а досугу час» (поговорка, которая по-другому звучит так: «Делу время, а потехе час»); «В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова „конец“» (Чехов. Драма на охоте).

От существительного *досуг* образовано прилагательное *досужий* по типу: прочий — прок, рабочий — работа, работать, охочий — охота (в значении 'желание'), пригожий — пригодиться, пригодный и т. д. *Досужий* известно в двух значениях: 1) 'свободный от дела, работы': «Не только досужие, но и рабочие люди разбрелись по углам и улеглись в тень» (Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы); 2) 'знающий свое дело, умелый': «Верховое Заволжье — край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышленный и ловкий» (Мельников-Печерский. В лесах); «Он досуж в грамоте» (запись диалектной речи).

От *досужий* со вторым значением образовано существительное *досужество* 'умение, ловкость' по типу: пригожество — пригожий, отечество — отчий и т. д.: «Пелагея, кроме досужества в домашнем обиходе, при-

несла с собою необыкновенное дарование сказывать сказки, которых знала несчетное множество» (С. Аксаков. Воспоминания). В древнерусском языке было известно слово *просуеъ* 'возможность', например: «Каковъ кому просуеъ дасть богъ» (Домострой, XVI век); ср. также в говорах: «Баба стряпать просужа» или в отдельных местах: *досужа*, т. е. 'мастерица'. Эти данные убеждают нас в том, что в слове *досуг* начальное *до*-является приставкой, обозначающей достижение, завершение чего-либо. Первоначальное значение корня *-суг-* ясно — из украинского *досугий* 'престарелый' (достигший предельного возраста): «Ще дуже досуга жінка: літ з вісімдесят» (Это очень старая женщина, лет восьмидесяти).

В значении 'достигать' чаще употребляется *досягати*, например: «Руки коротки, не досягнешь» (не достанешь, не достигнешь), ср. в украинском *досяжний* 'достижимый'. Корни *-суг-*/*-сяг-* одного происхождения и значения, в древности они звучали *-сжг-* (*-сжг-*).

Заметим, что досовые гласные *я/е* (на письме *жа*) чередовались так же, как и носовые *о/е*. Таким образом, современное чередование звуков *у/я* восходит к древнему чередованию *ж/а*, например, в таких словах: украинское *трусити* — русское *трясти*, тождественные по значению; смутить — смятение, досуг — досягнуть и т. п.

Из сказанного ясно, что *досуг* значит 'то, чего досягли' (достигли). Достижение конца дела давало свободное время, отсюда: быть на досуге, досужим; достижение какого-либо умения в деле делало человека также *досужим* (умеющим, способным, ловким).

Доктор филологических наук
А. С. ЛЬВОВ

О серии выражений:

*муху зашибить, муху задавить,
муху раздавить, муху убить,
с мухой, под мухой*

Академик

В. В. ВИНОГРАДОВ

Выражения *муху убить, муху зашибить, муху задавить, муху раздавить* являются своеобразными идиоматическими синонимами. Трудно с точностью определить стилистический круг их употребления в современном русском языке. По-видимому, они отмирают. Приурочение их к «просторечию» лишь затемняет их экспрессивные качества и оттенки жаргонного происхождения. В сущности синонимические отношения между глаголами *зашибить, задавить, раздавить, убить* (а также в индивидуальном употреблении *урезать*) в данном фразеологическом контексте обусловлены лишь некоторой общностью их значения и употребления, а также бессмысленностью одного и того же объекта — *муху*. Их значение в семнадцатитомном академическом «Словаре современного русского литературного языка» истолковывается так: «Выпить вина». Оно иллюстрируется следующими примерами из художественной литературы XIX века:

Сочини-ка ты мне того, чтоб муху задавить, то есть, рюмочку. (*Достоевский. Село Степанчиково...*);

Любили они муху зашибить. Бывало мимо кабака проехать нет возможности. (*Чехов. Происшествие*);

Приходи покалякать когда, поболтать, а и муху можно раздавить. (*Мамин-Сибиряк. Дикое счастье*).

Необходимо указать на то, что цитата из повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» произвольно сокращена в академическом Словаре. Вот она в полном виде: «Сочини-ка ты мне того... понимаешь? Ромео, так только, чтобы муху задавить... единственно, чтоб муху задавить, одну, то есть, рюмочку». Определение 'выпить вина' заимствовано из шахматовского «Словаря русского языка, составленного Вторым отделением Императорской Академии наук». Здесь в статье о глаголе *задавливать* — *задавить* находим: «Задавить муху — переносно: выпить вина. А тем временем муху задавим» (Достоевский. Униженные и оскорбленные). Более широкий контекст в «Униженных и оскорбленных» Достоевского такой: «Теперь четверть двенадцатого... Ну так ровно в тридцать пять минут двенадцатого я тебя и отпущу. А тем временем муху задавим».

Любопытно, что в шахматовском Словаре не помещено выражение *зашибить муху*. Однако под восьмым значением глагола за-

шибать, зашибить 'пить; иметь склонность к выпивке, к пьянству, запою' приведена народная поговорка (со ссылкой на «Пословицы русского народа» В. И. Даля): «Зашибить дрозда — сильно выпить». Возможно, что выражение *зашибить муху* возникло позднее, чем *задавить муху, убить муху*, в результате контаминации этих выражений с глаголом *зашибить* — *зашибать* в значении 'выпивать, иметь склонность к выпивке'. (Можно вспомнить и другое жаргонное значение и употребление глагола *зашибить* — *зашибать*: зашибить деньги, зашибать копейку и т. п.) Иллюстративные примеры собираются из народных говоров разных мест — севера, юга и запада. Из русской художественной литературы извлечены лишь три цитаты:

Признаться сказать, не помню, как и до светлицы доволока. Шибко зашибли. (*Печерский*. В лесах);

Большак-то у меня не надежен — зашибает. (*Л. Толстой*. Два старика);

Нашел муж полон котел золота и с той самой поры зачал крепко вином зашибать. (*Афанасьев*. Сказка «Жена доказчица»).

Обращает на себя внимание тот факт, что в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля под словом *муха* помещено лишь одно «переносное» выражение: *Убить муху* 'напиться до пьяна'.

В письме музыкального издателя П. И. Юргенсона к П. И. Чайковскому (от 13 декабря 1878 года) читаем: «Сегодня Воган с супругою позвали на „кусок ростбифа“, а после обеда дамский вечер у Софьи Ивановны. Тут мы, значит, двух мух разом убьем».

В «Кавказских воспоминаниях» (1861—1863) М. И. Венюкова: «На другой день, по случаю именин В. А. Геймана, у него был обед и, конечно, опять шампанское, причем именинник охотно подливал в бокал своему пятилетнему сыну, говоря, что „Егорка у меня молодец, настоящий кабардинец: умеет убить муху“, т. е. пить и не напиваться до потери сознания».

Трудно сомневаться в том, что во фразеологическом ряду *муху зашибить, муху задавить, муху раздавить, муху убить* на первое место с историко-этимологической точки зрения надо поставить выражение *убить муху*. В самом деле, фразы *задавить муху, раздавить муху* являются более или менее свободными, так как в них *муха* может быть заменена разными другими словами, метонимически обозначающими 'сосуд с вином'. Так, Гоголь вносит в свою «Записную книжку» рассказ об уланском обычае: «Уланы имели обычай складываться в числе 20: каждый поочередно покупал боценок вина, другие приходили к нему пить: это называлось „давать бухашку“».

У И. С. Тургенева в рассказе «Поездка в Полесье»: «Эх, барин, дай проходимцу на косушку! Уж раздавлю ж я ее, — подхватил он, подняв плечо к уху и скрипнув зубами». У В. А. Слепцова в «Спевке»: «И когда второй полуштоф был раздавлен, певчие уже свободно ходили по зале и начали... громко разговаривать...». У Г. П. Данилевского в романе «Мирович»: «Финансы в авантаже, не желаешь ли кстати черепочек раздавить?».

В семнадцатитомном Словаре отмечено у глагола *раздавить* — *раздавливать* просторечное значение 'выпивать что-либо хмельное'. Это значение реализуется во фразах *раздавить бутылочку, стаканчик* и т. п. Например:

А вот что лучше: не раздавим ли вместе еще посудинку? (*Салтыков*. В среде умеренности...);

Знакомцы хорошие из нашей округи тож нашлись, ну, для соблюдения знакомства и еще по две косушечки раздавили. (*Лесков*. Соборяне);

Дядя, идем завтракать. Раздавим бутылочку шампанского. (*А. Н. Толстой*. Гиперболоид инженера Гарина).

В «Криптогlossарии» (Представление глагола *выпить*) П. Тиханова (СПб., 1891) упоминаются также фразы *раздавить мерзавчика, раздавить баночку* и др. под.

Таким образом, выражение *раздавить муху* по близким ассоциациям включилось в длинный, но все же ограниченный ряд связанных словосочетаний типа: *раздавить косушку, баночку, мерзавчика* и т. п. Слово *муха* выступает здесь в роли заглохшего метонимического или метафорического обозначения чего-нибудь спиртного. Производность или вторичность этого фразеологизма несомненна.

Задавить муху в значении 'выпить вина' — это ироническая метафоризация типичного бытового (особенно для поместно-дворянской жизни) термина. Для иллюстрации лучше всего воспользоваться цитатой из пушкинского «Евгения Онегина»:

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.

Выражение *давить мух* стало характеристическим образом и обозначением застойного быта дворянского времяпрепровождения и тусклого развлечения. Отсюда иронический перенос его на выпивку по связи с фразеологизмом *убить муху*.

Итак, первичным фразеологическим оборотом в этом семантическом кругу или первичным членом этого фразеологического ряда следует признать выражение *убить муху*. Оно, естественно, ведет нас к терминологии карточной игры или, другими словами, к картежному жаргону. Именно на этом фоне получает полное осмысление слово *убить*.

Обратившись к семнадцатитомному академическому Словарю, легко найти спортивно-игрецкое значение глагола *убить*. Оно почему-то в этом словаре квалифицируется как «разговорное» и описывается так: «В карточной игре — перекрывать, побивать старшей или козырной картой карту противника, получая таким образом выигрыш (в карте, ходе, игре)». Иллюстрации:

[Утешительный:] Какое странное течение карт! Вот любопытно для вычислений! Валет убит, девятка взяла. (*Гоголь*. Игроки);

Долохов убил, то есть выиграл десять карт сряду у Ростова. (*Л. Толстой*. Война и мир);

Прекрасное занятие карты: сидишь за столом и, в течение ночи, десять раз умрешь и воскреснешь. Жутко знать, что вот в последнюю минуту убыл твой последний рубль и ты — нищий. (М. Горький. Проходимец).

В современном спортивном жаргоне переносное значение глагола *убить* — *убивать* для обозначения «успешного „вывода“ из игры, выигрыша» употребляется очень широко. Характерно также «переносное» от карточной игры выражение *убить карту* в значении «правильно предпринять что-либо, принять верное решение»:

[Компас:] Послушайте, как вас там, Алина. Мне не очень улыбается женить сына на девушке из низшего класса... Но вы вовремя убили карту. Я согласен, если вы исполните все мои инструкции. (А. Н. Толстой. Делец (см. 17-томный Словарь)).

Таким образом, внутренний анализ выражения *убить муху* приводит к выводу, что оно возникло в игрецком картежно-профессиональном жаргоне, по-видимому, еще в ту пору, когда он был тесно связан с социальными диалектами военной среды (преимущественно дворянско-помещичьей и дворовой окраски). В очерке А. Чужбинского «Стоянка в Дымагаре»:

«— А может быть, выкушаете с нами кофе?»

— Как Вам сказать! Если бы можно убить медведя — пожалуй. Старушка вопросительно посмотрела на гостя.

— Ха, ха, ха! вы не понимаете. Медведь значит кофе с ромом.

Это — выражение военного жаргона, — говорит ротмистр.

Ср. «И знаешь ли, напился хорошего хереса и убил штуки три медведей. Ромуловский так себе, но хересина, братец, просто объедение».

Фразеологический ряд экспрессивных глаголов, обозначающих выпивку, пьянство, в последние десятилетия XIX века пополнился выражением *урезать муху* (ср. *нарезаться*). Вот пример из журнала «Осколки» (анонимная подпись под рисунком А. И. Лебедева):

Супружеская гармония.

— Ну, и чего ты раскис, Аркаша? Чего глядишь сентябрем?

— Не радоваться же мне, неделю назад жену схоронивши! Без нее все мне как-то опротивело... Даже вино, и то претит... Разом исчезла вся гармония моей семейной жизни...

— Какая у тебя, к черту, была с женой гармония! Ты пьянствовал, а она за это тебя ругала, вот и вся твоя гармония!

— Э-эх, не говори, брат! Ты в этом деле ничего не смыслишь!

И в ругани своя гармония есть... Придешь, бывало, домой, *урезавши здоровую муху*, завалишься на кровать, да пока жена-покойница, царствие ей небесное, тебя костит да пияет, эдак сладко-сладко заснешь... Это не гармония, по-твоему? («Осколки», 1886, № 10).

У А. С. Афанасьева (Чужбинского) в рассказе «Забывтая история» есть рассуждение о русских карточных играх XIX столетия и среди них упоминается *мушка*:

Смело можно быть уверенным, что пока существуют карты, то каждая из игр, прежде изобретенных, хотя бы она находилась в забвении сотни лет, непременно возникнет с каким-нибудь усовершенствованием, а иногда и в первобытном виде. Кто следил за этим делом в последнее время, у того на глазах совершались различные

метаморфозы с самыми старинными играми, которые, возрождаясь и совершенствуясь, мало отходили от первоначального типа.

Вот названия игр — бывших и находящихся у нас в употреблении с начала столетия: трилистик (иначе — подкаретная), дурачки, свои козыри — мельник, короли, фофан, юрдон, марьяж, пикет, экарте, тентере, каламбриест, дружбарт, вист, бостон, гальбик (гальбцвельф), ландскнехт (дябелэк), банк (фараон), стос, квинтичь, *мушка*, кончинка, цхра, безик, ломбер, палки, преферанс, ералаш, рамс, стуколка, макао. Некоторые только видоизменения прежних, как например — палки происходят из тентере, ералаш из виста, стуколка заимствована из подкаретной... Большинству, вероятно, известно, что игры разделяются на азартные и коммерческие, т. е. одни из них предоставляют выигрыш чисто случаю и счастьем, — другие же, требуя искусного понимания и соображения — благоприятствуют только игроку, обладающему этими качествами... Азартными играми считаются все не имеющие козырей... (Собрание сочинений. Под редакцией П. В. Быкова. Т. IV. СПб., 1894, стр. 297—298).

Итак, муха или мушка — это была модная карточная игра в начале XIX века. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу 18 апреля 1828 года: «...На днях же и сам дебютировал в муху (игра карточная в моде)». Значение 'картежная игра' отмечал в слове *муха* и «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля.

На том историческом фоне, который здесь вырисовывается, вся соль экспрессивно-образных словесных воплощений выпивки, пьянства сосредоточивается в слове *муха*. Это обстоятельство отражается и в тех деформациях, которым подвергаются связанные с ним фразеологизмы. Вообще говоря, внутренняя неразложимость или односторонняя трансформация идиоматизма лежит в основе его возможных каламбурных видоизменений и даже внутренне не мотивированных или механических его рассечений и дроблений. Но, конечно, тут большую роль играют аналогические соответствия и концентрации, скрещения и сокращения. Именно в результате таких процессов возникли детерминативные сочетания слов с *мухой*, *под мухой*. Иллюстрации: «Крисп Иваныч засиживался иногда в гостях, иногда возвращался домой с мухой» (Мамин-Сибиряк. Богданка); «Зинаида Тихоновна, внимательно рассматривая свою гостью..., даже подумала про себя: „Ох!.. должно быть, она того... с мухой“» (Мамин-Сибиряк. Бурный поток).

У А. П. Чехова в рассказе «Пересолил»: «До усадьбы... оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать-сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли и возница с мухой, да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)»

Выражение с *мухой* встречается в стилях русского литературного языка с 30—40-х годов XIX века. Так, у П. А. Каратыгина в «Записках»: «Хотя людская молва часто из мухи делает слона, но должна же быть какая-нибудь муха. Не пригрезилось же это кому-нибудь во сне!

По прошествии некоторого времени, просто из любопытства, я

стал доискиваться, не удастся ли мне поймать где-нибудь эту могильную муху, и, действительно, мне, наконец, удалось найти, если не муху, так человека, который был „с мухой“ в день похорон моего брата; от него-то и разнеслась эта неелепость».

У Н. А. Лейкина в рассказе «Биржевые артельщики» употреблено выражение *с мухой в голове* (в нетрезвом состоянии): «В легком хмеле, как говорится, с мухой в голове, возвратился Подметкин с артельной пирушки».

Выражение *с мухой* метафорически переосмыслено применительно к характеристике состояния нетрезвого человека. Оно заимствовано из терминологии картежной игры в муху, из связанного с ней жаргона и собственно обозначало «с выигрышем, с удачей, с победой», с овладением «мухой» или с достижением «мухи».

Позднее на основе аналогических приравнений к выражениям *под хмельком* и т. п. возникло сочетание слов *под мухой*, например у К. Паустовского в «Колхиде»: «Парень, должно быть, был под мухой, — добавил Чоп от себя. — Выпил поллитровочки водки» (см. 17-томный Словарь).

В моих «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» упоминается об очень своеобразной и интересной брошюре диалектолога-любителя П. Тиханова «Криптогlossарий» (Представление глагола *выпить*). Здесь собрана лексика и фразеология, вращавшаяся в пределах живой разговорной русской речи и ее разных социальных диалектов в конце XIX века и связанная с представлением о выпивке, о пьянстве. Мне кажется и теперь, в общем, правильной данная здесь социально-диалектная характеристика разных типов обозначений выпивки: «В противоположность дворянской традиции, в которой фразеология пьянства носила отпечаток или „простонародности“ (например: нализаться, как зюзя, куликнуть, хлебнуть лишнее, хватить и т. д.), или военного и картежного аргю (например: зарядиться, быть на втором взводе, нарезать, с мухой, под мухой и т. д.), или же каламбурной нарочитости (под шефе, фрамбуаз, насандалиться, заложить за галстук и др.), в буржуазной, разночинной среде „представление глагола *выпить*“ осуществлялось, с одной стороны, красками городского вульгарного просторечия, нередко с жаргонным оттенком (ковырнуть, нажраться, надрызгаться, дернуть, дерябнуть, долбануть, дербануть, дербалызнуть, налакаться, раздавить мерзавчика, раздавить баночку, хлебнуть малую толику, садануть, тюкнуть, хлобыснуть, царашнуть и др. под.), с другой стороны, приемами нарочито книжных, нередко официально-канцелярских и церковнославянских (семинарских) перифраз (вонзить в себя, двинуть от всех скорбей, писать мыслете, нарезать в достолюбом порядке, разрешить вино и елей, совершить возлияние Бахусу, устроить опрокидон или опрокидоны и т. д.)» (Лейден, 1950, стр. 420).

Итак, русские идиоматизмы, связанные с *мухой*, сложились и распространялись сначала в жаргонно-профессиональной среде

картежников и военных, а затем влились в городское «просторечие».

Отпадает другое этимологическое объяснение этих выражений — из медицинского жаргона. Во «Врачебном словаре» Александра Никитина («Врачебный словарь, изъясняющий принятые в медицине греческие и латинские термины, с прибавлением кратких биографических очерков известных древних врачей, составленный Доктором Медицины — Надворным советником и Кавалером Александром Никитиным...». СПб., 1835) читаем под словом «muodesopsia»: «Видение мушек — обыкновенный обман в начинающемся глазном туске, т. е. больной думает, что он видит нечто, похожее на муху; от $\mu\acute{o}\lambda\alpha$ ‘муха’, $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$ ‘вид’ и $\epsilon\psi\iota\varsigma$ ‘видение’».

П. Н. Тиханов в своем исследовании «Брянский говор» (СПб., 1904) воспроизводит любопытный «Памятник брянской письменности» середины XIX века — «Книшку Отъгаворную Егора Зайцова». Про собеседника тетрадки один из брянских жителей отозвался так: «Это был мастеровой на одном из мальцевских заводов, старик, довольно крепкий с виду и, как говорят в Брянске, — *имел в носу* (был колдун)».

По поводу непонятого *имел в носу* с добавлением, что это значит «был колдун», П. Н. Тиханов замечает:

В русском жаргоне, среди слов для означения степени охмеления есть между прочим выражение «муха», с такими вариантами: забить, убить муху (мүшинку), с мухой, под мухой, предварительная муха, и проч., что в переводе на обыкновенную речь надо понимать: человек находится-де в подпитии, в легком опьянении, выпито для смелости, для храбрости etc. Кроме этой, так сказать скромной, небольшой вышивки, под «мухой» иногда разумеется пир горой, когда бывает что называется море разливанное и все лягут костями. Это загадочное выражение «муха» со всеми его видоизменениями недаром привилось в цикле иносказаний или жаргоне, хотя употребляется оно вряд ли сознательно.

По русскому народному суеверию, колдуны знают с нечистым, с дьяволом. Сопоставляя «муху» с одной белорусскою половицей, откровенно внутреннее значение сего слова. Вот что находим в исследовании Буслаева «Русские пословицы и поговорки»:

«О чародее или колдуне белорусы говорят: (у него) „мухи в носе“. Чтобы понять эту поговорку, следует припомнить соответственные ей мифические предания других народов. У литовцев есть божество мух, *musù birbiks* (от глагола *birbju* ‘пицать, жуужжать’). Немецкие сказки повествуют о превращении нечистой силы в мух.

Я. Grimm в „*Deutsche Mythologie*“ приводит одно место из „*Acta Bened.*“ (sec. I. 238), вполне объясняющее нашу белорусскую поговорку: „*In muscae similitudinem prorumpens cum sanguine de naribus egressus est inimicus*“ [Тот, кто извергает из ноздрей с кровью нечто, подобное мухе, есть враг] (Ф. И. Буслаев, *Пословицы*. М., 1854, стр. 171—172). Я. Grimm дает еще несколько превращений дьявола в муху; см. его «*Deutsche Mythologie*». Берлиц, 1877: II, стр. 834; III, стр. 295. Там же и о других метаморфозах, кои признает *malignus spiritus*. Ср. известную легенду в житии Иоанна Новгородского и мн. др. «Между смешными и достойными всякого презрения идолами, у хананеян был *велзевул* — бог мух, которому в Аккароне воздвигнуто было великолепное капище (4 Царств: 1).

Имя это иудеи впоследствии употребляли для означения *князя бесовска*. Мф.: X, 24 и дал.» (М. Сибирцев. Опыт библейско-естественной истории. СПб., 1867, стр. 329). Ср. у Calmet: Dictionnaire historique, critique etc., de la Bible (Paris, 1730, III, стр. 329 s. v. Mouches): «...Les Philistins aboraien le Dieu Mouche sous le nom de Béelsébub» [«Филистимляне поклонялись Богу Мухе по имени Беельзевуб»] и др.

При характеристике Зайцова (что он «имел в носу») опущено слово *муха*, значение которого в смысле «нечистого», вероятно, потерялось в народе, сохранив его лишь для определения степени охмеления водкою, «кровью сатаны» (П. Н. Тиханов. Брянский говор. Заметки из области русской этнологии, стр. 165—166.— «Сборник Отделения русского языка и словесности». Т. 76. СПб., 1904).

Искусственность и надуманность этого объяснения очевидны. Оно лишено конкретной исторической почвы. Кроме того, в этом случае остается неясной грамматическая и семантическая структура выражения *под мухой* или *с мухой*; ср. также *убить муху*.

Хобби учителя Майера

У каждого человека, как правило, есть свое «хобби», т. е. большое увлечение каким-либо делом или вопросом, не связанным с профессией. Есть оно и у учителя Гельмута Майера из Брауншвейга (ФРГ). Ему сегодня 67 лет. Из них он уже сорок лет в свободное от службы время занимается подсчетом слов. Как? Берет всевозможные тексты — художественные, публицистические, научные — и начинает подсчитывать, сколько раз такое-то слово встречается. Таким образом, он за 40 лет проанализировал с точки зрения повторяемости свыше 10 миллионов немецких слов, точно 10 910 777. Материалом послужили книги, газеты, журналы, киносценарии, грамматики, законодательство, поздравления, письма, даже влюбленных. Исследование велось, так сказать, и в устном плане. Энтузиаст своего дела, Майер, находясь на рынке среди торговцев или на вокзале среди отъезжающих, незаметно стенографировал услышанные им слова.

— А для чего, собственно говоря? — спросит читатель. Не потеря ли это времени?

Нет! Выявить частотность слов — весьма важная лексикографическая задача. Такого рода словари могут оказать большую услугу в создании хороших учебников и учебных пособий для изучающих иностранный язык.

Выявляются и другие интересные данные, например: слово *мир* значительно более употребительно, чем *война*, слово *жизнь* впереди слова *смерть*. Слово *счастье* встречается в три раза чаще, чем *несчастье*, а да в четыре раза больше нет. Из слов, обозначающих организм человека, на первом месте стоит *рука*. Затем идут: *глаз*, *сердце*. Один из важных выводов — удивительная экономичность языка в критические моменты. Тогда словарь человека становится очень малым, но и максимально выразительным.

Как видим, хобби учителя Майера не только интересно, но и полезно.

Т. Д. АУЭРБАХ

СТАРИННЫЙ РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ

(продолжение)

Народноэтимологическое осмысление ставшего малопонятным по составу существительного *просинец* связывает название с рождественскими и новогодними играми молодежи, которые сопровождался выпрашиванием разной снеди. Описание таких игр находим в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». В украинском языке возникла диалектная форма *просимец*. В старых западноукраинских календарях известно также сейчас неупотребительное наименование января *прозимець*, в котором заметно сближение со словом *зима*. Для слова *просинец* известен также вариант *прасинец* (см.: В. И. Чичеров. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI—XIX веков. М., 1957, стр. 71—72.).

Современное название *январь* не сразу стало употребляться вместо старого *просинец*. В «Словаре на шести языках (российском, греческом, латинском, французском, немецком и английском), изданном в пользу учащегося российского юношества» Г. А. Полетики (СПб., 1763) приводится другое название — *сбчень*. Этому старинному русскому слову есть точное соответствие в украинском языке *сичень*, встречалось оно и в старобелорусском языке *сечень*, в сербскохорватском *сечань*, в болгарских диалектах оно имело вид *сечко*. В македонском языке *сечко* (а в древнерусском *сбчень*) служило названием февраля. В чешских диалектах когда-то слово *sečen* употреблялось как название июля («Мовознавство», 1967, № 1, стр. 50). Все эти названия, безусловно, связаны с общеславянским глаголом *сечь, секу* (в холодный зимний месяц в лесу рубили, секли, дрова для топки).

В 1855 году в неофициальной части «Вологодских губернских ведомостей» (№ 50) некий П. К-в опубликовал статью «Старинные русские и пермские названия месяцев», где сообщались русские названия, извлеченные из рукописи начала XVII века. Для января здесь употребляется слово *просбчень*, которое, вероятно, образовалось в результате объединения названий *просинец* и *сбчень*. Такое объединение двух слов языковеды называют контаминацией. В статье П. К-ва указано, что термин *просечень* в рукописи имеет интересное пояснение: «сиречь грудень зимний» (то есть грудень зимний). Слово *грудень* в древнерусском языке служило наименованием ноября (подробнее об этом см.: «Русская речь», 1967, № 6). Следовательно, можно думать о старом противопоставлении *осеннего грудня* (ноября) *зимнему* (январю).

Январь — середина зимы, поэтому известно народное его наименование *перелом зимы*.

1 января по церковному календарю отмечался день памяти святого Василия Кесарийского (в народе Василия-Свинятника), отсюда другое народное название — *Васильев месяц*. Впрочем, в народном календаре за первым днем января сохранилось еще более старое наименование *авсень*, которое В. И. Даль объяснял как переделку несохранившегося существительного * *овсень* (от *весна*, ср. *ббавсень* 'время, близкое к весне'). Дело в том, что раньше, когда Новый год праздновался 1 марта, *овсень* обозначал первый день весны. Народный термин *авсень*, восходящий, вероятно, еще к языческим временам, позднее стал непонятным со словообразовательной стороны, или, как говорят языковеды, утратил внутреннюю форму, поэтому в народных новогодних и других песнях первоначальный вид слова сильно изменился: таусень, тусень, титусень, туасень, туасель, баусень, афсень — палусень, усень, асень и т. д. Известен также глагол *таусенить* (северный): «колядовать в Васильев вечер (накануне Нового года); мальчики ходят по селу и поют таусенные песни» (см. «Толковый словарь» В. И. Даля). Есть и другие объяснения слова *авсень* (*овсень*), которые в частности обращают внимание на то, что обрядовое пение иногда сопровождается рассеиванием (сеянием) зерна (особенно *овса*).

Последняя часть января после святок называлась в древнерусских памятниках также *свадьбами* — обычное время свадеб. Характерна запись под 1459 годом в Псковской первой летописи, где сообщается о пожаре в Пскове: «о свадьбах мѣсяца генваря въ 22 день» (предлог *о* здесь имеет значение 'во время').

Февраль

Латинское название *februarius* связано с обрядами очищения (*februa, februae*), которые были приурочены к концу года: ведь у римлян год начинался с марта. На Русь римский термин *februarius* попал через посредство византийского греческого языка — *φεβρουάριος* или *φεβρουάριος*. В древнерусских памятниках это слово вначале имело много различных вариантов: февруарь, февраль, феурарь. Но всегда в его составе рядом стояли два почти одинаковых согласных *p* (твердый и мягкий). Язык обычно избегает повторений, не случайно поэтому столь распространено в просторечии и русских народных говорах произношение слов *директор, коридор, прорубь* как *дилектор, коллidor, пролубь*. Такой же процесс диссимилиации (расподобления) происходил и в слове *февраль*: звуком *л* заменялись первое или второе *p* (феуларь и февраль). Постепенно в русском языке единственно употребительным стал вариант *февраль*. Таким образом, сейчас мы, строго говоря, имеем «неправильную» форму. В церковном русском календаре употреблялся более близкий к греческому языку вариант *февруарий (февруарий)*.

Древнерусским названием февраля было *сбчньнъ*: «Мѣцъ февраль, рекомыи сбчень» (Четвероевангелие 1144 года). В более позднее время этот термин уже произносится и пишется с мягким конечным согласным *н*: сбчень. Правда, в таком виде он относится уже к январю. В западноукраинских говорах известно название февраля — *другий сичень* (второй сечень) или *сичник*. Раньше была на Украине известна также форма *сичненко (сичненко)*, то есть «сечнёнок, сын сечня». Ср. болгарское *малък сечко* 'февраль' при *голям сечко* 'январь'. В упомянутой уже рукописи начала XVII века приводится еще одно название февраля *сбчець*, которое непосредственно связано с корнем *секу, сечь*.

«Вьюги, метели под февраль полетели!» — так характеризуется февраль в народной поговорке. Февраль — месяц сильных метелей и лютых морозов, поэтому не случайно его старинное наименование *лютый*. Именно оно приводится в «Словаре на шести языка» Г. А. Полстики. Это же название февраль имеет в современных языках: украинском *лютий*, белорусском *люты* и польском *lutu*. Наименование *лютый* особенно отчетливо указывает, что большинство славянских названий месяцев по происхождению прилагательные. Но только в термине *лютый* форма прилагательного вида ясна. Кстати, названия месяцев на *-ен, -ень* тоже восходят к старым кратким формам прилагательных (ср. *красен — красный, будень — будний*). Но сейчас они уже воспринимаются как существительные.

В старинном русском крестьянском быту февраль обычно выделялся как месяц *свадебный*. Это, впрочем, было характерно и для второй половины января. Известный славист Ф. Миклошич в исследовании о славянских названиях месяцев (работа издана по-немецки: Fr. Miklosich. Die slavische Monatsnamen. Wien, 1867, стр. 23) цитирует одну из псковских летописей, где под 1402 годом говорится: «Февраль именується свадьбами». Иногда в народном календаре февраль назывался *свадебником*, так же называли и октябрь, когда тоже справлялись свадьбы.

Совершенно неожиданно у *лютого-февраля* обнаруживается теплое народное имя — *бокогрей*. К концу февраля появляется яркое солнце, отсюда и незимнее название. Ведь согласно народным приметам, 2 февраля «на Сретенье зима с летом встретилась: солнце — на лето, зима — на мороз». Отсюда и сретенские морозы и сретенские оттепели.

Февральские метели заносят все санные пути и рядом со старыми проезжими дорогами обычно возникают новые, которые в это время бывают очень разбитыми, поэтому существовало еще одно народное название февраля — *широкые дороги*. На плохие дороги в феврале обращают внимание и западноукраинские названия *казибрид, казидорога*, в которых первая часть связана с глаголом *казити* 'портить' (ср. русский глагол с приставкой *искажить*). Как завершение зимы февраль иногда называли *сшиби рог с зимы*, особенно это наименование относится ко дню святого Власия 11 февраля.

Кандидат филологических наук
И. Г. ДОБРОДОМОВ

СЛАВЯНИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Кандидат филологических наук
И. С. УЛУХАНОВ

Славянизмами (или старославянизмами, церковнославянизмами) называют обычно слова и выражения, вошедшие в русский язык из старославянского и церковнославянского языков.

Со школьных лет всем известны так называемые полногласные сочетания звуков в словах (оро, ере, оло) и соответствующие им неполногласные (ра, ре, ла, ле). Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями в корнях (сторона — страна, волость — власть, берег — брег) различны по происхождению. Первые являются исконно русскими, вторые заимствованы из старославянского языка, т. е. являются славянизмами. Слова с неполногласными сочетаниями в корнях не единственные славянизмы в современном русском языке. Кроме неполногласия, существует еще ряд примет, свойственных славянизмам: сочетание *жд* и звук *ц* в соответствии с русскими *ж* и *ч* (рождать — рожать, мощь — мочь), начальные *ра, е, ю* в соответствии с русскими *ро, о, у* (равный — ровный, единый — один, юродивый — урод) и другие. Многие славянизмы не имеют специальных примет: *истина* — исконно русское *правда*; *ланига* — исконно русское *щека*.

Из старославянского языка в русский вошли не только слова, но и некоторые приставки (*пре-, пред-, раз-, из-* в пространственном значении, ср. русские *пере-, перед-, роз-, вы-*) и суффиксы (например, суффикс причастий *-ущий*, ср. русский *-учий*).

Что же представляли собой старославянский и церковнославянский языки и как они взаимодействовали с русским?

Старославянский язык — это древнейший литературный язык славян. На нем написаны первые письменные памятники славянства: переведенные с греческого языка во второй половине IX века книги священного писания — евангелие и псалтырь. Перевод был осуществлен братьями греками Константином (827—869) и Мефодием (умер в 885 году), жившими в Солуни (современные Салоники) и хорошо знавшими славянский язык местного населения. Константину (в монашестве Кириллу) принадлежит заслуга создания первой славянской азбуки. В основу данного языка был положен говор славянского населения Солуни — древнеболгарский (южнославянский) в своей основе. В процессе перевода этот говор подвергся известной обработке, нормализации, приспособлению

к устоявшимся особенностям канонических церковных греческих текстов. Переводы, сделанные Кириллом и Мефодием, не сохранились, и о старославянском языке мы можем судить на основании более поздних памятников (X и XI века), представлявших собой главным образом переводные тексты церковного содержания.

Книги, написанные на старославянском языке, получили широкое распространение уже в конце IX века. Этому способствовала просветительская деятельность Константина и Мефодия, совершивших поездку в Моравию и затем в Рим, где Константин умер; Мефодий и многочисленные ученики братьев продолжили начатое им дело.

Распространяясь вместе с книгами по территории, занятой славянами, старославянский язык впитывал в себя особенности местных говоров. В его местных редакциях он получил название церковнославянского языка. Известны следующие редакции церковнославянского языка: сербская, среднеболгарская, русская и западнославянская (чешская).

На протяжении всего средневекового периода церковнославянский язык был общим лигатурным языком славян. На старославянский, а позднее на церковнославянский язык были переведены с греческого сочинения византийских церковных и светских писателей. В процессе перевода создавались средства для передачи абстрактных понятий, вырабатывалась славянская философская, политическая и религиозная терминология.

Церковные книги, написанные на старославянском языке, поступали на Русь, по-видимому, уже в X веке. Особенно усилился их приток после того, как Русь приняла христианство в 988 году. Книжки переписывались русскими писцами, которые таким образом усваивали особенности старославянского языка, внося одновременно в него специфические русские черты. Церковнославянский язык был языком, родственным древнерусской разговорной речи. Поэтому русские писцы успешно овладевали им и начинали употреблять его для перевода различных книг церковного характера главным образом с греческого языка, а также и в собственных сочинениях.

Уже в X—XI веках на Руси существовали и взаимодействовали две речевые стихии — народно-разговорная (восточнославянская живая речь) и книжно-славянская (церковнославянский язык). Эти речевые стихии уже с древнейшей поры нашли отражение в письменности. Использование церковнославянского языка и народно-разговорной речи в письменности было тесно связано с содержанием произведения.

Поскольку церковнославянский язык распространился на Руси прежде всего как язык церкви, естественно, что все, что было связано с религиозно-философской тематикой, писалось на церковнославянском языке. Слова и выражения, свойственные народной речи, почти не проникали в эти произведения. Особенно широкое распространение церковнославянская письменность получила со

второй половины XIV века, когда усиливаются культурные связи Руси со славянским Югом. Этот период в науке называется периодом «второго южнославянского влияния». В церковнославянском языке этого периода особое распространение получают возвышенные слова и усложненные синтаксические обороты, пышная риторика. Из активного употребления церковнославянский язык выходит лишь в XVIII — начале XIX века. В настоящее время он употребляется лишь в церковной службе.

Религиозно-философская литература количественно преобладала в общем объеме письменности; однако существовала и светская письменность: летописи, художественно-повествовательные произведения (например, Сочинения Владимира Мономаха, Моление Даниила Заточника), деловые сочинения — свод законов, называвшийся «Русская правда», а также многочисленные грамоты. В этих сочинениях, в особенности в деловых документах, широко представлены элементы народно-разговорной речи. Вместе с тем церковнославянский язык оказывал влияние и на эти жанры письменности. Более того, влияние церковнославянского языка сказалось, по-видимому, и на живой речи образованных людей.

В современной научной литературе русская редакция церковнославянского языка называется также «книжно-славянским типом древнерусского литературного языка», а тот язык, на котором написаны летописные рассказы, повествующие о реальных событиях (обычно о войнах, походах русских князей), а также такие произведения, как Сочинения Владимира Мономаха, Моление Даниила Заточника и другие, называются «народно-литературным типом древнерусского литературного языка» (термины академика В. В. Виноградова).

Исследование языка древнейших русских летописей, созданных в XI—XIV веках (Новгородской летописи, Повести временных лет, Суздальской, Киевской, Галицкой, Волынской летописей), а также деловых документов этой эпохи показывает, что в произведениях светского содержания употреблялись лишь те славянизмы, которые наиболее часто встречаются в церковных книгах. Это и естественно: наиболее употребительная лексика, чаще всего встречавшаяся при чтении и постоянно повторявшаяся во время церковной службы, входила в активный словарный запас древнерусского книжника. Так, например, в церковно-книжных произведениях употреблялись многочисленные и разнообразные глаголы со старославянской приставкой *pre-*. Активное употребление за пределами церковнославянского языка получили лишь несколько глаголов, наиболее употребительных в церковно-книжных памятниках: *пребыти* (*пребывати*), *предати* (*предатися*), *презрети*, *прельстити* (*прельщати*), *преставитися*, *преступити* (*преступати*), *претерпети*. Все эти глаголы прочно вошли в русский язык и сохранились в нем до настоящего времени несмотря на то, что часть из них имела русские синонимы с приставкой *пере-* (*перебыти*, *передати*, *пересту-*

пити, перетерпети). На фоне народно-разговорных синонимов они продолжали оставаться книжными элементами.

С большей легкостью усваивались славянизмы, не имевшие русских синонимов. Таковы, например, слова *время*, *праздник*, *сладкий*, *требовать* и другие. Интересно, что некоторые славянизмы, прочно усвоенные русским языком, соединялись с русскими словообразовательными элементами. Так, например, глагол *перебраниваться* возник путем соединения славянизма *бранитися* с русской приставкой *пере-* и русским суффиксом *-ива-*; в глаголе *обезвреживать* представлен старославянский корень *вред* и русский суффикс *-ива-* и т. д.



Церковнославянский язык влиял и на устную речь образованных русских людей древнейшей эпохи. Крупнейший историк русского языка академик А. А. Шахматов полагал, что «все лица, прошедшие школы, основывавшиеся на Руси в XI веке», говорили на «древнеболгарском» языке (см.: А. А. Шахматов. Введение в курс истории русского языка. Ч. I. Пг., 1916, стр. 82). Трудно предположить, однако, что, получив образование, русский книжник переставал в устном общении употреблять тот живой древнерусский язык, с которым он поминутно сталкивался в быту. Скорее следует полагать, что книжное образование сказывалось в использовании определенного количества славянизмов в речи.

О том, какие славянизмы употреблялись в устной речи в XI—XIV веках, мы можем судить на основании многочисленных записей речей, имеющих в указанных выше древнейших русских летописях. При этом достоверным материалом могут служить лишь записи тех речей, которые не имеют следов явной литературной обработки. Ведь летописец зачастую вкладывает в уста тех, о ком он пишет, обширные монологи, выдержанные в традициях церковнославянского языка. Если же определенный славянизм встречается в записях речей (и притом регулярно!) в окружении слов и форм, свойственных русской разговорной речи, то можно считать, что данный славянизм реально употреблялся в повседневной речи рассматриваемого периода. Таким путем установлено, что из числа глаголов с приставкой *пре-* в живой речи в княжеско-дружинной среде XI—XIII веков употреблялось лишь пять глаголов: *пребыти*, *предати*, *предатися*, *прельстити* и *преступити*. Лишь эти глаголы регулярно встречаются в древнейших русских летописях в записях «неолитературных» речей, например: «и послашася к Выревцемь. рекуче оже ны ся не прѣдасте дамы вы Половцемъ на полонь», «Глѣбъ... рече прельстили мя Переяславци» (Киевская летопись по Ипатьевскому списку). Эти же глаголы представлены в записях устной речи, имеющих в памятниках XV—XVII веков.

Многие славянизмы употреблялись в повседневной речи в составе устойчивых выражений, типичных для церковнославянского языка. Таковы, например, сочетания «господи накажи а смерти

не предаи», «отвѣчати предъ Богомъ», неоднократно отмеченные в составе речей в древнейших русских летописях, например: «и рѣша бояре и людье... аще ли неправо гла Двдѣ да приметь мечь от Бога и отвѣчает пред Богомъ» (Повесть временных лет. Лаврентьевская летопись).

В деловые документы с их практической направленностью и почти полным отсутствием литературной отделки проникали лишь наиболее типичные, широко употребительные славянизмы. Например, в почти тысяче грамот XI—XIV веков, используемых для создания Словаря древнерусского языка этой эпохи, отмечены лишь три глагола с *пре-*: пребывати, пребыти, преставитися; лишь два глагола со старославянской приставкой *из-*: избърати и изидити. Чаще всего славянизмы используются в деловой письменности в составе устоявшихся формул, например: «се азъ...», «благословение отъ владыки» и т. п.

Таким образом, в живой речи, а также в светских жанрах древнерусской письменности происходил процесс отбора и освоения славянизмов, имевший важное значение для выработки устойчивых норм русского национального языка. Индивидуальная судьба славянизмов в русском языке, как мы пытались показать, во многом объясняется характером их использования в церковнославянском языке. Если значение славянизма (а именно значение существенно в данном случае) способствует достаточной частоте его употребления в церковно-книжных памятниках, то это создает условия выхода его за пределы этих памятников, распространения в светских жанрах и живой речи.

■ Сопоставляя такие современные слова, как *краткий* и *короткий*, *передать* и *передать*, *преступить* и *переступить*, *страна* и *сторона*, *праз* и *порох* и т. п., мы замечаем, что они различаются по значению. Иногда, правда, есть и общее в значениях этих слов, например, можно сказать *краткая речь* и *короткая речь*; можно сказать *короткая одежда*, но нельзя сказать *краткая одежда*. Чем же объясняется различие в их значениях?

Слова *краткий*, *передать*, *преступить*, *страна*, *праз* и т. п., как нам уже известно, являются по происхождению славянизмами, они заимствованы из старославянского языка. Слова *короткий*, *передать*, *переступить*, *сторона*, *порох* исконно русские. Славянизмы, как говорилось выше, употреблялись в древней письменности главным образом в церковно-книжных текстах, исконно русские слова — в светских. В церковно-книжных памятниках религиозно-моралистические рассуждения преобладают над сюжетными рассказами; для светских памятников типично конкретное, динамическое описание. Поэтому естественно, что, например, слово *краткий* сочеталось главным образом со словами абстрактно-духовного характера (връмя, житие, жизнь, животь 'жизнь', вѣкъ, лѣто, царствие, постъ, слово, глаголь, бесѣда, молитва и т. п.), а слово *короткий* — со словами, обозначающими конкретные пред-

меты. Первоначально *краткьи* означало то же самое, что и *короткьи*: в древних памятниках имеются единичные примеры на употребление этого слова с названиями конкретных предметов: «краткая одежда», «власы кратки». Однако наиболее типичные употребления слова *краткьи* постепенно стали единственно возможными: оно стало сочетаться только со словами абстрактно-духовного характера, а сочетания его с названиями конкретных предметов стали невозможными. Слово изменило свое значение, и причина этого — в особенностях употребления слов в церковно-книжных памятниках, обусловленных их содержанием.

Подобными причинами объясняется изменение значений и других славянизмов. Глагол *преступити*, например, в большинстве случаев употреблялся в сочетании со словами: заповѣдь, законъ, уставъ, завѣтъ, повѣление, предание, клятва, обѣщание, обѣтъ и т. п. Сочетания его со словами — названиями конкретных предметов (например, *преступити порогъ*) были единичны и постепенно перестали встречаться. Глагол, ранее означавший то же, что и русское *переступить*, стал означать 'совершить дурной поступок'. Это изменение значения отразилось и в словах *преступление*, *преступный* и *преступник*, образованных от этого глагола.

Глагол *пресечи* в отличие от русского *пересечь* сочетался преимущественно с названиями отрицательных действий, а глагол *прервати* в отличие от русского *перервать* — с названиями нематериальных явлений. В современном языке можно сказать *пресечь злоупотребление*, но не *пресечь дорогу* (ср. *пересечь дорогу*), *прервать разговор*, но не *прервать нитку* (ср. *перервать нитку*).

В церковно-книжных памятниках постоянно повторяются одни и те же, преимущественно библейские, сюжеты и образы, которые описываются обычно одними и теми же словами. Так, например, бесчисленное количество раз повторяется евангельский сюжет о предателе Иуде, который изменнически передал Иисуса Христа в руки иудейским «книжникам и фарисеям». Для изображения этой передачи всегда применялся глагол *передати*, который первоначально означал то же, что и современное *передать*. Но его использование для изображения предательства Иуды было столь типичным, что постепенно глагол стал обозначать только 'предательство': в современном языке можно сказать *передать товарища*, но нельзя *передать карандаш* (ср. *передать карандаш*).

Слово *прах*, как и русское *порох*, означало любое сыпучее вещество (пыль, пепел и т. п.). Однако для церковно-книжных памятников, в которых обычно употреблялось слово *прахъ*, было типично его применение по отношению к человеку — живому или мертвому — с целью подчеркивания его ничтожности, бренности и т. п. Иные употребления слова (в значениях 'пыль, порошок') постепенно уступают место этому наиболее типичному употреблению. Русское *порохъ* употреблялось в иных жанрах (его фиксации в церковно-книжных памятниках единичны) и в иных контекстах,

называя чаще всего пыль, а также порошок (обычно лекарственный). С XVII века в деловой письменности это слово стало употребляться для названия сыпучей взрывчатой смеси, передав свои первичные значения другим словам (пыль, порошок).

Таким образом, различия в значениях слов *краткий* — *короткий*, *преступить* — *переступить*, *предать* — *передать*, *прах* — *порох* и т. п. появились в связи с постоянным употреблением славянизмов в сочетаниях с ограниченным кругом слов, близких по значению, а также для изображения одного и того же сюжета (например, предательства Иуды) или образа (например, человек — пыль). В изменениях значений славянизмов проявилась одна из общих языковых закономерностей, состоящая в том, что постоянное, наиболее типичное употребление постепенно становится единственно возможным.

■

Некоторые славянизмы изменили свое значение под влиянием тех греческих слов, для перевода которых они обычно применялись. Чем объяснить, например, развитие у слова *гражданин* значения 'подданный государства, член общества'? Ведь оно образовано от слова *градъ* 'город' и должно было бы, подобно слову *горожанин*, обозначать жителя города. Дело в том, что слово *гражданинъ* постоянно употреблялось для перевода древнегреческого слова *πολίτης*, которое обозначало как жителя города, так и подданного государства. Это слово было образовано от греческого *πόλις* 'город-государство'. Как известно, древнегреческие города (полисы) представляли собой государственные объединения (Афины, Спарта и др.). Поэтому горожанин, член греческой городской общины, был одновременно и гражданином, т. е. подданным определенного государства. Славянизм *гражданинъ* заимствовал (или, как принято говорить, «калькировал») значение греческого слова *πόλιτης*. Слово *горожанинъ* не получило значения 'подданный государства', так как оно вообще не употреблялось в памятниках, переведенных с древнегреческого языка: переводы делались на церковнославянский язык, в котором это исконно русское слово отсутствовало.

Приведенные примеры показывают, что старославянский и церковнославянский языки сыграли важную роль в обогащении русского языка книжной и абстрактной лексикой.

На протяжении XI—XVII веков на Руси активно создавалась письменность на церковнославянском языке, возникшем на основе старославянского (в своей основе южнославянского языка). Будучи важным фактором образованности и культуры, она оказывала влияние на светские жанры письменности, в которых были широко представлены элементы народно-разговорной речи. В этих жанрах осуществлялся тот отбор лексики старославянского и церковнославянского языков, который и обусловил состав славянизмов современного литературного языка.

Диалектологические заметки

Н. А. Добролюбова

В Институте русского языка АН СССР составляется многотомный «Словарь русских народных говоров». Составители этого Словаря стремятся с возможно большей полнотой представить диалектное лексическое богатство русского языка XIX—XX веков.

Собирать областные материалы и публиковать их Академия наук начала более ста лет назад. В 1852 году был издан «Опыт областного великорусского словаря», в 1858 году — «Дополнение к Опыту областного великорусского словаря». Из года в год круг этих источников расширяется. Недавно нами была найдена запись областных слов Нижегородской губернии, сделанная рукой великого русского революционного демократа, критика и публициста Николая Александровича Добролюбова.

С тринадцати лет Н. А. Добролюбов начинает записывать пословицы и поговорки, и это увлечение с годами растет и крепнет. В течение ряда лет он собирает образцы народной речи, песни, предания и поверья, занимается описанием обрядов, примет и суеверий. Часть обширного архива Н. А. Добролюбова хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. В этих бумагах есть несколько пожелтевших от времени листков с записью местных слов Нижегородской губернии. На первом листе-обложке — надпись, сделанная рукой Н. Г. Чернышевского: «Материалы для сборника областных слов и предисловие к нему» (Рукописный отдел Гос. публичной библиотеки, ф. 255, № 42). В предисловии говорится о том, что список областных слов содержит лексику, не вошедшую в «Опыт...», только что изданный. Слова даны только на «А»

и «Б». По-видимому, существовало и продолжение этого списка, но оно или не сохранилось или пока еще не обнаружено. По технике выполнения эта запись не отличается от множества других, сделанных любителями родного слова. Но нижегородские говоры того времени не были нигде подробно описаны. О них лишь упоминается в немногочисленных реестриках (подобных добролюбовскому), значимость которых от этого возрастает.

Замечательны причины собирания областных материалов, которые Н. А. Добролюбов изложил в предисловии, названном «Несколько предварительных замечаний». Звучат они современно, но мало известны, так как опубликованы лишь в «Полном собрании сочинений» Н. А. Добролюбова под редакцией П. И. Лебедева-Полянского (М., 1934—1941).

«В последнее время стали обращать преимущественное внимание на разработку сокровищ отечественного языка. Многие частные ученые посвятили на это труды свои, но особенно благодарностью все любители отечественного слова обязаны Второму отделению Императорской Академии наук. Все, что доселе сделано замечательного в этой области знания, сделано трудами или по крайней мере не без участия Академии. Недавно еще изданы ею „Опыт областного великорусского словаря“ и „Сравнительная грамматика“. В Словаре находится более 1800 речений, собранных в продолжение многих лет трудолюбием членов Академии. Но при всем том, издавая Словарь, она говорит, что это только опыт, который требует дополнений и переделок. И еще много лет пройдет, может быть, до тех пор, когда составится полный Словарь живого русского языка, со всеми его местными оттенками и отличиями! Уверенный, что всякий, имеющий возможность делать, не должен в этом случае оставаться без действия, — хотя бы и одну каплю надеялся пролить в море науки, — я решил собрать несколько слов, пропущенных в Словаре Академии и употребляющихся в Нижегородской губернии. Избираю „Губернские ведомости“ органом для передачи во

всеобщее сведение собранных мною слов потому, что редакция, не по слухам только знакомая с губернией, помещая мое собрание на листах своих газет, может тем самым свидетельствовать о верности и точности моего труда.

Долгом считаю при этом поблагодарить добрых приятелей В. А. К. и В. В. Л., которые помогли мне несколько в деле собирания областных слов и в самом определении значений некоторых из них.

20 марта 1853 года.
Нижний Новгород. Н. Д.»

При составлении Областного словаря следует использовать статьи, рецензии, юношеские работы Н. А. Добролюбова, где рассыпаны многочисленные упоминания о местной лексике и часто дается подробное ее толкование. Многие из этих лексических наблюдений — единственные, никем больше не зарегистрированные. Например: «Для избавления от бессоницы суеверы также считают полезным класть в люльку ребенка цветок чертополоха, краюшку хлеба, косточку из головы поросенка, или рыбы, которую в просторечии называют — с о н» (Рукописный отдел Гос. публичной библиотеки, ф. 255, № 52). «Есть предрассудок, что когда при-

метишь у какого-нибудь животного или человека, что ему видится сон (что узнается по известным признакам), то нужно тотчас на голову его навязать платок — пой м а т ь с о н его. Если потом тот же платок навязать себе на голову, то и сам увидишь тот же самый сон, который поймал у другого в платок» (там же).

Некоторые пословицы, записанные Добролюбовым, отличаются от общеизвестных вариантов: «Заметим, что в Нижегородской губернии говорят: „Не всяко лыко в стрыку“, — помечает Н. А. Добролюбов под посьвицей: „Не всяко лыко в строку“ («Предисловие к пословицам»)). Возможно, что добролюбовский вариант, сохранивший «лад и склад», — «родительский» по отношению к литературному, но забыт из-за непонятого слова **стрыка**. Впрочем, в польском языке имеется родственное *struszek* 'веревка, петля'. Постепенно плетение лаптей как ремесло исчезает, в связи с этим становится неясным и вариант «Не всяко лыко в строку» (см. словарь М. Михельсона «Русская мысль и речь»).

Н. В. ПОПОВА,
научный сотрудник
Словарного сектора Института
русского языка АН СССР

А. А. Барсов и его рукописная «Российская грамматика»

Имя Антона Алексеевича Барсова (1730—1791), видного ученого, общественного деятеля, самого крупного последователя М. В. Ломоносова в изучении грамматики русского языка, пользовалось в XVIII веке широкой известностью. Биографических сведений об этом замечательном человеке до нас дошло немного. Из-

вестно, что А. А. Барсов родился в Москве. Его отец, Алексей Кириллович Барсов, был правщиком московской академической типографии. Рано лишившись отца, Барсов прошел тернистый путь нужды и лишений от ученика Славяно-греко-латинской академии до профессора Московского университета.

Барсов так же, как Ломоносов и многие другие ученые той эпохи, получил начальное образование в стенах московской Славяно-греко-латинской академии, а затем продолжил его в Петербургском академическом университете, который окончил в 1753 году со званием магистра филологии и свободных наук. В университете Барсов слушал лекции великого Ломоносова и до конца жизни со-

хранил чувство любви и глубокого уважения к своему учителю.

После открытия Московского университета (1755) Барсов вместе с двумя другими выпускниками петербургской Академии был направлен в Москву для преподавания в новом университете. Здесь Барсов читал курс математики, а затем в 1761 году в звании профессора перешел на кафедру словесности, или, как называли тогда, «красноречия, стихотворства и российского языка». Эту кафедру он занимал в течение тридцати лет. Одновременно он был деканом философского факультета, инспектором гимназий, организованных при университете. В ведении Барсова находилась университетская типография, он же был редактором и цензором большинства напечатанных здесь книг. Барсов составлял и редактировал первую московскую газету «Московские ведомости».

Барсов отдавал университету все силы, время и знания. Помимо преподавательской деятельности он играл видную роль в университетской общественной жизни. Долгое время он был единственным русским профессором среди профессоров-иностранцев в Конференции, органе университетского самоуправления.

Одним из первых Барсов начал читать лекции в университете на русском языке (занятия в то время велись чаще всего на латыни). Как и другие передовые профессора университета, Барсов видел свою задачу в подготовке молодых кадров русских ученых и специалистов. Московский университет стал центром культуры и просвещения в России, и этому во многом способствовала деятельность представителей «ломоносовского племени», к которому принадлежал Барсов.

Барсов известен как автор и переводчик целого ряда произведений. В них он выступает как лингвист, историк, философ — круг его научных интересов был весьма обширен. Увлеченный идеями Просвещения, Барсов переводил и редактировал Вольтера. К сожалению, значительная часть трудов Барсова — шесть томов его собственноручных записок — не найдена до сих пор; предполагают, что записки погибли во время московского пожара 1812 года.

Исследователи истории грамматических учений в России уделяли недостаточно внимания изучению лингвистического наследия Барсова. Это можно объяснить тем, что основной труд ученого — его «Российская грамматика», написанная в последней четверти XVIII века, не был опубликован сразу и до сих пор остается в рукописи.

Какова же история создания рукописной грамматики Барсова и ее дальнейшая судьба?

В свои университетские курсы Барсов иногда включал лекции по русской грамматике. Он был также автором двух элементарных учебников русского языка для гимназий. Вот почему комиссия по организации народных училищ обратилась с просьбой к профессору Барсову, «как человеку, в слове российском много упражнявшемуся и более прочих себя в оном оказавшему», написать учебник грамматики. Народные училища были открыты в России по приказу Екатерины II, которая желала быть в глазах Европы просвещенной монархиней, поклонницей просветительских идей Руссо и Вольтера.

Барсов охотно согласился написать грамматику, но работа вопреки его собственным расчетам затянулась на пять лет (с марта 1783 по февраль 1788 года). Работал он увлеченно. Н. М. Карамзин назвал свою статью о Барсове «Великий муж русской грамматики» (1803). Он писал: «Я пользуюсь дружбою одного, крайне ученого мужа, который живет единственно для с л о н е н и я и с п р я ж е н и я, б о ж и т с я р о д а м и, в и д и т в о с н е н а р е ч и я» (Н. М. Карамзин. Сочинения. Т. 3. СПб., 1848).

Итогом пятилетнего упорного труда была «Российская грамматика», она получилась «полнее и обстоятельнее прежних, что можно, — по словам самого А. А. Барсова, — точнее усмотреть из сравнения, ибо многие частные наставления, о которых прежде кратко упомянуто было только или совсем умолчано, здесь предложены со всеми объяснениями» (М. И. Сухомлинов. История Российской Академии. Вып. IV. СПб., 1868).

Принято считать, что основными препятствиями к опубликованию «Российской грамматики» были большой объем и трудность изложения

Однако истинную причину надо искать в другом. Видный славист того времени, митрополит Евгений писал, что грамматика Барсова «за некоторые новизны в правилах не принята» («Словарь русских светских писателей митрополита Евгения». Т. I. М., 1845).

Комиссию испугали смелые нововведения Барсова, стремившегося сблизить правописание с живым языком народа. Например, он предлагал уничтожить совершенно лишние в русском алфавите буквы, такие как «ять», «фита», «ижица», твердый знак в конце слов и т. д. Барсов в своем учебнике в качестве примеров использовал слова из живой разговорной речи того времени и такие просторечные выражения, которые и спустя сорок лет служили поводом для нападок на Пушкина. К тому же события французской революции 1789 года настолько встревожили Екатерину II, что она обрушилась на французских просветителей, своих бывших «учителей», и прежде всего на их идеи просвещения народа. В этих условиях стремление облегчить доступ к грамоте широким народным массам не могло понравиться правительству Екатерины II.

Новаторский труд ученого так и остался неизданным.

Грамматика Барсова — выдающееся явление в истории русского языкознания. Хотя она и не была опубликована, существование трех списков (один из них хранится в Ленинграде, два других — в Москве) свидетельствует о том, что «Российская грамматика» распространялась в рукописи. С нею были знакомы такие наши языковеды, как А. Х. Востоков и Ф. И. Буслаев, определенное влияние оказала она и на грамматику Академии Российской 1802 года. Следуя в основном за «Российской грамматикой» М. В. Ломоносова, Барсов творчески развивал, уточнял и дополнял положения ломоносовской грам-

матики, а также сформулировал ряд новых правил, выведенных на основании тщательного наблюдения над современным ему русским языком.

Грамматика Барсова состоит из пяти частей: правоизгласнения, просодии, правописания, этимологии (т. е. морфологии) и сочинения слов (синтаксиса). Раздел «правоизгласнения», посвященный звукам русского языка и их классификации, впервые выделен здесь как самостоятельный. Барсов противопоставляет звук букве, хотя и не всегда разграничивает их в терминологическом отношении.

В отличие от своих современников, он правильно определяет природу русского ударения в основном как силового: просодия — «наставление о том, как должно надлежащую силу дать каждому складу в выговоре» (московский список, стр. 1). Большую ценность представляет разработка вопросов о видах глагола, которые впервые смутно «предчувствовал» Мелетий Смотрицкий. Заслуга Барсова состоит и в том, что изучение предложения из риторики было перенесено в грамматику. Хорошо знакомый с основными достижениями западноевропейской лингвистики, Барсов вводит в свою грамматику логический элемент, ссылаясь при этом на авторитет таких пособий, как философские грамматические трактаты француза Курде Жебелена и немецкого ученого Аделунга. Знание нескольких древних и новых языков помогло Барсову сравнивать их данные с данными современного ему русского языка.

В грамматике собраны ценные материалы о живом народном русском языке конца XVIII века, представляющие и теперь значительный интерес. «Российская грамматика» П. А. Барсова — свидетельство высокого уровня развития русского языкознания второй половины XVIII века.

М. П. ТОБОЛОВА,
аспирантка МГПИ им. В. И. Ленина





Трудные случаи ударения

Многие читатели интересуются, на каком слоге делать ударение в том или ином слове (*киломе́тр* или *кило́метр*, *миллиме́тр* или *милли́метр* — читатель В. Б. Житомирский из Ростова-на-Дону), почему допускаются варианты в ударении некоторых слов (*собра́лся* и *собра́лся* — М. М. Пальчевский из Белоруссии), как понимать необычное ударение, встречающееся в поэтических произведениях («...то бурла́ки идут бечево́й» и др. — Ю. А. Колтицова из Каспийска).

В словах с двояким ударением обычно отражаются исторические изменения, происходящие в языке: старую норму произношения теснит новая, еще не завоевавшая монополии. Начался, взялся — старые формы, они в древнерусском языке принадлежали к большой группе глаголов с ударением на *-ся*. Переход ударения на корень (*начался*, *взялся*) в них еще не завершен, и в современном литературном произношении допускаются оба варианта. В белорусском языке этот процесс завершился, поэтому, как отмечает читатель М. М. Пальчевский, для белорусского правильны и единственно возможны формы с ударением на корне.

Нередко литературный язык, стремясь избежать колебаний, принимает за норму один вариант и отвергает другой как неправильный. Так, допустимо только произношение *киломе́тр*, *миллиме́тр*, *краси́вее*, *звони́шь*, *положи́л*.

Что касается «неправильного» ударения у поэтов XIX века, то оно неправильно лишь с точки зрения современной литературной нормы. В XIX веке оно могло быть общепринятым или еще известным, но употребляемым с окраской некоторой архаичности. Так, *призра́к* у Пушкина:

Богатыря призра́к огромный
Пугал пустынных рыбаков

(Руслан и Людмила)

и́дут у Лермонтова.

И́дут все полки могучи, шумны как поток

(Спор)

и *бурла́ки* у Некрасова:

То бурла́ки идут бечево́й

(Размышления у парадного подъезда)

употреблены со старым ударением. До сих пор в говорах можно найти такие формы, как *идут* — в южнорусских, *бурла́ки* — на севере. В то время как в последнем случае литературный язык принял новую форму *бурлаки́* аналогичное старое произношение *казáки* и новое *казакí* употребляются как равноправные варианты.

Сформулировать правила ударения в современном русском языке часто бывает трудно. Поэтому во всех сомнительных случаях следует обращаться к словарям и справочникам. Рекомендуем:

- 1) Р. И. Аванесов и С. И. Ожегов. Русское литературное произношение и ударение. Словарь-справочник. М., 1960;
- 2) С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1965.

«Ночи безумныя...»

Библиотекарь Н. И. Андреева (Москва) обратилась к нам с таким письмом: «Недавно я слышала, как одна певица пела первые строки романса Чайковского так: «Ночи безумныя, ночи бессонныя, речи бессвязныя, взоры усталыя...», — явственно подчеркивая я в конце прилагательных. Может быть, Вы могли бы мне ответить, чем вызвано такое произношение и правомерно ли оно?».

Замеченная Н. И. Андреевой особенность речи в пении — произношение окончания именительного падежа множественного числа имен прилагательных как *-ья (-ия)* — идет от традиций вокального исполнительства. Такое произношение было вызвано старой русской орфографией. До 1918 года на письме сохранялись родовые различия в именительном падеже множественного числа прилагательных: для женского и среднего рода в этой форме писалось окончание *-ья (-ия)*, а для мужского — *-ые (-ие)*: *большие дома*, но *большия комнаты*, *большия окна*. Разумеется, такое различие не поддерживалось произношением: во всех трех родах в этой форме произносился один и тот же конечный безударный гласный звук. Однако вокалисты нередко, опираясь на орфографию, пели *-ья (-ия)*; это было в значительной степени продиктовано желанием показать в фермато, на высокой ноте или в кантилене более широкий звук.

В 1918 году реформой русской орфографии указанное архаическое написание было упразднено: для всех трех родов в данной форме было принято писать окончание *-ые (-ие)*. Но, хотя после этого не осталось никаких, даже орфографических оснований для произношения *ночи безумныя* и т. п., многие певцы сохраняли эту традицию.

Надо заметить также, что окончание *-ья (-ия)* в именительном падеже множественного числа иногда распространяется на формы мужского рода, что уже никак нельзя объяснить старой орфографией. У некоторых певцов можно услышать не только *ночи безумныя*, *ночи бессонныя*, *речи бессвязныя*, но и *взоры усталыя*, *цветы запоздалыя* (в том же романсе), *златыя дни* (ария Ленского в

«Евгении Онегине» Чайковского), *привольные дни* (каватина Князя в «Русалке» Даргомыжского) и т. д. Очевидно, эта абсолютизация окончания *-ья (-ия)* была своеобразной условностью старого певческого стиля произношения, поскольку оно встречалось и у некоторых крупных певцов, сложившихся в дореволюционное время.

В наши дни отмеченное Н. И. Андреевой произношение нельзя оценить иначе, как манерность. Надо рекомендовать певцам избегать ее, очень осторожно используя лишь как средство стилизации, архаизации, приближения к устаревшим нормам речи в пении: например, в старинных русских романсах или в романсе Полины из «Пиковой дамы» Чайковского («Подруги *мылья...*»).

Волнительный

«Это слово режет слух. Нельзя внедрять в речь подобные слова-суррогаты», — пишет нам читатель Н. Н. Никитин из Уфы.

Слово *волнительный* уже в течение нескольких лет привлекает к себе внимание тех, кто чутко улавливает новое в языке, кто ощущает нарушение стилистической нормы употребления или грамматическую неточность в образовании, хотя объяснить, в чем она заключается, не всегда может.

Всякий раз, когда появляется новое, тем более стилистически окрашенное слово, например: *болельщик*, *учеба*, *боевитость*, *выкладываться* (отдавать все силы, работать с предельным напряжением) и др., оно сразу находит горячих сторонников и столь же горячих противников. Элемент субъективизма в оценке таких слов неизбежен. Но на вхождение их в язык не всегда может повлиять мнение лингвистов. Так и слово *волнительный* запретить невозможно. Оно существует. Существует около семидесяти лет.

Возникнув в среде артистов как, по их мнению, более выразительно характеризующее силу впечатления и переживания, чем обычное старое *волнующий*, слово *волнительный* в последнее время стало довольно широко употребляться не только в артистической среде. Оно, казалось бы, не противоречит ни существующей грамматической модели словообразования (сомнение — сомнительный, значение — значительный, презрение — презрительный, волнение — волнительный), ни значению глагола: «такой, который волнует».

Однако отношение носителей языка к этому слову, его появлению и употреблению пока остается различным. Одним оно режет слух, другие (например, автор этих строк) не считают его образцовым и сами не употребляют в речи, хотя и признают его существование; третьи уже признали *волнительный* полноправным русским разговорным словом. К последним относятся авторы и редакторы четырехтомного «Словаря русского языка» и словаря-справочника «Правильность русской речи» (изд. 2-е. М., 1965).

В словаре-справочнике «Правильность русской речи» приведены две цитаты, показывающие разное отношение к этому слову тех, кто его употребляет и слышит: 1) «У меня такое чувство, что мы идём садом, охваченным бурей, все гнется, ветер свистит, и так шумно на душе, так волнительно, что... — Ах, черт! Вот оно! — ожесточился Пастухов. — Выскочило! Волнительно! Я ненавижу это слово! Актерское слово! Выдуманное, несуществующее, противное языку... какая-то праздная рожа, а не человеческое слово!» (разговор актера Цветухина с писателем Пастуховым. Федин. Необыкновенное лето); 2) «Вот уже 56 лет Вера Николаевна Пашенная играет на сцене Малого театра, но такого подъема душевных сил, с каким она играет сейчас в пьесе А. Парниса „Остров Афродиты“, народная артистка уже давно не испытывала. — Все, что происходит на сцене, — продолжает Вера Николаевна, поправляя черный шарф, — волнительно... Именно волнительно! Она делает ударение на этом слове, которое, видимо, одно должно объяснить и этот подъем душевных сил и ее отношение к пьесе» («Огонек», 1960, № 52).

Если судить по материалам словарной статьи в «Словаре русского языка», то может создаться впечатление, что слово это действительно широко употребляется в языке. Здесь *волнительный* с пометой «разговорное» и толкованием ‘волнующий, вызывающий тревогу’ иллюстрируется двумя примерами: «Получили от Саши и Левы письма очень волнительные» (Л. Толстой. Письмо к жене, 22 октября 1887); «Приглашение, что и говорить, лестное, но чрезвычайно волнительное» (Юрьев. Записки).

Между тем в картотеке словарного сектора Института русского языка АН СССР зарегистрированы только два случая употребления этого слова Л. Толстым (причем оба в письмах!), из современных писателей старшего поколения только Л. Леонов представлен в этой картотеке: «Думать о Протоклитове доставляло ему темное и волнительное удовольствие, понятное рыбакам, охотникам и птицеловам, когда уже на прицеле добыча» (Дорога на океан). Остальные примеры — из воспоминаний или выступлений актеров.

Правда, в последнее время это слово чаще можно встретить и в художественных произведениях, например: «Целый день, ошалевшая, радостно увлеченная, ходит она [деревенская женщина] по лавкам да по лоткам, не поест, не присядет, потому что нет для нее ничего волнительнее, чем разные товары да обновы» (Носов. Шуба). Можно встретить его и в разговорной речи.

Но хочется отметить при этом, что не все, даже из тех, кто употребляет *волнительный* (*волнительно*), используют это слово в речи однозначно. Одни считают его более выразительным, чем *волнующий* (*волнующе*), и употребляют без стилистической окраски (см. пример, где передаются слова В. Н. Пашенной), другие применяют его как стилистическое средство оценки явления.

Звуковик

М. Г. Крошачев из Омска спрашивает, что значит слово *звуковик*, встреченное им на страницах повести Вл. И. Немировича-Данченко «Драма за сценой».

В толковых словарях современного русского языка, появившихся за последние двадцать лет, зафиксировано слово *звуковик*, которым называют специалиста по улавливанию с помощью приборов шума самолетов, подводных лодок и т. п. Нет необходимости доказывать, что такое значение не могло быть известно автору названной повести, написанной в 1895 году.

В повести Вл. И. Немировича-Данченко «Драма за сценой» читаем: «Каждый раз, как до Белесова доносился голос Перевалова, он ощущал страх школьника, спешил переписывать и, громко повторяя слова роли, заучивал их. Карандаш был больше обгрызан, чем очинен, и писал бесцветно. Белесов все время слюнявил его и давил им по клочкам бумаги, как *звуковик* из народной школы».

Кто же такой звуковик? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к истории педагогики. Примерно до середины XIX века при обучении грамоте использовался так называемый буквослагательный метод: вначале школьники заучивали буквы алфавита и их названия, после этого твердили слоги, называя при этом каждую букву, и т. д. Заучивание букв и слогов было неосмысленным.

На смену этому методу пришел звуковой метод, получивший свое наиболее полное развитие в трудах К. Д. Ушинского и его последователей. Так, один из них (В. П. Вахтеров) рекомендовал начинать обучение грамоте с предварительных звуковых упражнений, приучающих школьника выделять звуки речи. До знакомства с буквами ребенок должен был научиться делить речь на слова, слова на слоги, слоги на звуки. Отдельные буквы показывались в это время лишь для того, чтобы ребенок уяснил цель своего труда. На предварительные упражнения отводилось не менее двух недель. Вот этих детей, только что поступивших в школу, и называли звуковиками.

В дальнейшем звуковой метод продолжал совершенствоваться, предварительные (добукварные) звуковые упражнения уже не считались необходимым условием наиболее рационального обучения грамоте, и слово *звуковик* перестало употребляться, тем более, что и раньше оно осмысливалось как принадлежность учительской профессиональной речи и в словари его не включали. К тому же, звуковой метод, прочно утвердившись в школьной практике, утратил ореол новизны. Работа по этому методу рассматривалась как нечто само собой разумеющееся, вследствие чего его название («звуковая метода», как тогда выражались) и упоминание о нем вышло из широкого употребления. В этом нет ничего странного. Ведь и сейчас первоклассников учат грамоте по

звуковому методу. А многие ли об этом знают, кроме специалистов?

Таким образом, слово *звуковик* появилось, исчезло, а спустя несколько десятилетий обрело новую жизнь, выступая, однако, уже в ином значении. При этом необходимо подчеркнуть, что современное слово *звуковик* образовалось совершенно самостоятельно, вне зависимости от своего давно забытого предшественника.

И все же между этими двумя словами есть много общего. Образованы они одинаково, что свидетельствует о продуктивности данной словообразовательной модели. Да и по значению они близки (и там и здесь обозначается способность к выделению определенных звуков из ряда других), так что если бы старое слово *звуковик* продолжало оставаться в языке поныне, то мы говорили бы не о двух разных словах, а о двух значениях одного и того же слова. Хотя, возможно, если бы словом *звуковик* и теперь называли начинающего школьника, то это могло стать препятствием для обозначения тем же словом человека, работающего со звукоулавливающими устройствами.

Пятерка

«Я всегда был уверен, что слова „пятерка“, „тройка“ и т. д. как оценки успеваемости следует писать с кавычками, то же и в цифровом обозначении. Но уже несколько раз встречал в газетах, журналах написание этих слов без кавычек. И я засомневался: существует ли в данном случае твердое правило?» — пишет нам читатель Б. Л. Штейнбук со станции Пойли Азербайджанской ССР.

Употребление кавычек регулируется двумя принципиально различными типами правил. В одних случаях постановка кавычек обычно не вызывает сомнений: при прямой речи, цитатах, условных наименованиях; здесь мы действительно имеем дело с правилами в полном смысле слова. В других случаях, когда выделяются «слова, употребляемые не в своем обычном значении; слова, употребляемые иронически; слова, впервые предлагаемые или, наоборот, устарелые и необычные» («Правила русской орфографии и пунктуации». М., 1956, § 193), постановка кавычек необязательна, а решает дело воля автора; по существу мы имеем здесь не правило, а право пишущего (см.: «Русская речь», 1967, № 4, стр. 60—64).

Выделение в кавычках слов *пятерка*, *тройка* так же, как и *двойка*, *четверка*, в значении отметок об успеваемости и прилаганий, очевидно, может быть отнесено к «необязательным» случаям, если только для этого есть основания... В самом деле: что могут означать в данном случае кавычки? Слова эти «необычные» или «употреблены не в своем обычном значении»? Но ведь это не так. *Двойка*, *тройка*, *четверка*, *пятерка* — разговорные соответствия официальным наименованиям оценок пятибалльной системы (пять, четыре и т. д.). Они возникли из цифровых обозначений в журна-

ле, табеле. Насколько привычно употребление таких эквивалентов, показывают примеры из произведений Чехова, Вересаева и других писателей, приводимые в толковых словарях (и притом без кавычек!). А опасаться, что, например, тройка-отметка может быть понята как тройка-упряжь из трех лошадей или как тройка-костюм (пиджак, брюки, жилет), вряд ли нужно: гарантия этому — сам контекст, содержание которого обуславливает верное понимание слова.

Следовательно, постановка кавычек при словах — оценках успеваемости лишена оснований, при условии, конечно, что эти слова употреблены в свойственном их стилистическому характеру контексте. Скажем, в годовом отчете об успеваемости в районе слова *двойка*, *тройка* и т. д. пришлось бы выделять кавычками — из-за резкого контраста между их разговорностью и официальным характером документа (это уже нарушение стилистических норм!).

Вообще следует иметь в виду, что в случаях рассматриваемого типа было бы неверным категорически, безоговорочно требовать постоянного выделения в кавычках такого-то слова. Ведь смысл правил в данном случае — в их необязательности, что и подчеркнуто в формулировках недавно вышедшего «Справочника по правописанию и литературной правке для работников печати» Д. Э. Розенталя (М., 1967, § 128).

Что же касается цифрового обозначения оценок, то в тексте (но не в классном журнале!) кавычки при них необходимы: ведь цифру мы употребляем условно, имея в виду не количество чего-либо, а оценку.

Таким образом, правильно будет, если мы напишем:

«Мой сын получил пятерку по арифметике» и

«Мой сын получил „5“ по арифметике».

согласились

Большинство товарищей

согласилось

А. Редких (Киев) спрашивает, в каком числе ставится сказуемое при подлежащих типа *большинство товарищей*.

При подлежащих, выраженных существительным с количественным значением (*большинство*, *меньшинство*, *множество*) и зависящим от него существительным в родительном падеже множественного числа, сказуемое может стоять как в единственном, так и во множественном числе. Множественное число сказуемого подчеркивает активность подлежащего, поэтому нередко во множественном числе ставится сказуемое при подлежащем, обозначающем группу лиц, например: «Большинство товарищей *согласились с этим предложением*». Но и употребление сказуемого в единственном числе здесь возможно: «Большинство товарищей *согласилось с этим предложением*». Таким образом, в данном случае существуют два варианта литературной нормы.

Если подлежащее обозначает неодушевленный предмет, то сказуемое обычно ставится в единственном числе, например: «Ряд управлений не выполнил своих обязательств». В единственном числе ставится также сказуемое, выраженное кратким страдательным причастием, например: «Большинство товарищей было привлечено к работе над проектом».

По грибы или за грибами

спрашивают нас многие читатели.

Можно пойти и *за грибами* и *по грибы*. Можно *за ягодами* и *по ягоды*, *за дровами* и *по дрова*. *За водой* и *по воду* — тоже можно.

Следует ли из этого, что сопоставляемые конструкции равнозначны? Попробуем продолжить этот ряд. *За молоком*, *за книгами* пойти можно, а вот *по молоко*, *по книги* — мы не говорим. Тут же параллель не «срабатывает». Значит, у каждой из сопоставляемых конструкций разные возможности лексического наполнения, у второй они весьма ограничены. И действительно, *за грибами* и *за ягодами* то же ли самое, что *по грибы* и *по ягоды*? Если идем в лес собирать грибы и ягоды, то обе конструкции применимы. А если в магазине, покупать? Тогда скажем: *пойти за грибами*, *за ягодами*, но не *по грибы*.... Выходит, что значения этих конструкций совпадают не полностью, что конструкция с дательным падежом (*по грибы*) уже по значению.

Во всякой ли языковой ситуации можно употреблять обе конструкции? В разговоре обе, но если мы пишем деловую бумагу, например, в отчете: «Местком организовал две поездки рабочих в лес за грибами...» или «По инициативе профкома сотрудники отдела дважды выезжали в лес за грибами...», мы чувствуем, что конструкция *по грибы* была бы здесь неуместна стилистически.

Значит, у конструкций *за грибами* и *по грибы* общее значение при глаголах движения, но вместе с тем различные возможности и лексические, и смысловые, и стилистические. Эти различия и позволяют им мирно сосуществовать в языке.

Сочетания типа *идти по грибы*, *по воду* имеют диалектное происхождение. Конструкция типа *по грибы* во многих говорах очень разнообразна лексически. Говорят: *ушла по молоко*, *по справку сходил*, *по старосту сбегал*. В. И. Даль приводит поговорку:

УЛЫБКА ХУДОЖНИКА



Без слов.

«Правда» 3 сентября 1967 г.

ВЕЧЕРНЯЯ
МОСКВА

13 сентября 1987 года

ПАССАЖИРСКОЕ АГЕНСТВО МОСКОВСКОГО РЕЧНОГО
ПАРОХОДСТВА

**ОРГАНИЗУЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОЕЗДКИ
НА ТЕПЛОХОДАХ ЗА ГРИБАМИ**



**НА ТЕПЛОХОДЕ
В ЛЕС.
ПО ГРИБЫ
И ЯГОДЫ**



По желанию организаций грибники могут съези на любой при-
стань намала.

Для заключения договоров на коллективные поездки направляются
уполномоченные агентства.

Индивидуальные поездки за грибами можно совершить на са-
дах пригородного сообщения, отправляющихся от причалов Север-
ного речного вокзала.

«Погоди родить, дай по бабушку сходить». А в «Русалке» Пушкина свадебный хор поет:

Веря ль верешка,
Укажи дороженьку
По невесту ехати...

Но употребление в этой конструкции существительных со значением лица и многих других остается чисто диалектной, местной особенностью.

В литературный язык сочетания типа *идти по грибы* вошли как фольклорный, народно-поэтический синоним к сочетанию *идти за грибами*. Ощущение связи с народными говорами, просторечная стилистическая окраска, может быть, и вызывают у

некоторых наших читателей сомнения в полноправности конструкции *по грибы*. Но просторечие — это тот слой общелитературного языка, откуда черпают живые краски разговорная речь.

Плетемся по грибы.
Шоссе. Леса. Канавы...

(Б. ПАСТЕРНАК)

Не пренебрегать народной речью, а бережно и любовно использовать ее богатства учат нас и мастера русской литературы. Вспомните: «Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова» (Крылов); «Я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы» (Пушкин); «Горничная и кухарка пошли по ягоды» (Чехов); Летом — ходят в монастырский бор по грибы, по ягоды и в лес, за реку, по клюкву» (М. Горький).

Глухонемота преодолима

Геолог Е. Ф. Артемов из Якутска спрашивает: «Что знает лингвистика о языке глухонемых? Могут ли глухонемые ставить хотя бы простые вопросы и отвечать на них?».

Прежде всего о термине «глухонемой». Так называют людей, которые потеряли слух в раннем детстве, до того, как у них сформировалась речь. Это обстоятельство особенно важно: ведь никому из нас не придет в голову называть глухонемым человека, потерявшего слух в зрелом возрасте или, как это бывает довольно часто, под старость.

Глухой ребенок не может самостоятельно (вернее, подражая взрослым) овладеть звучащей речью, как его слышащий сверстник.

В среде глухонемых вырабатывается особый вид общения, условно называемый мимикой. В основе его лежат жесты, каждый из которых обозначает самостоятельное понятие. Используя мимический язык, можно ставить простейшие вопросы и отвечать на них.

Но вот глухонемой поступает в специальную школу. Здесь под руководством опытных педагогов ребенок учится говорить, овладевает звучащей речью.

Каждый звук имеет свою артикуляцию, то есть особое и вполне определенное расположение речевых органов. Например, для того чтобы произнести звук [у], нужно округлить губы и вытянуть их трубочкой, а для произнесения звука [и] губы, наоборот, нужно растянуть, почти как при улыбке, и т. д. Особую и специфическую работу при произнесении каждого звука совершают язык, мягкое небо, голосовые связки. Всему этому и обучается глухонемой.

Овладевая произношением, дети одновременно учатся и воспринимать звучащую речь: конечно, услышать ее глухонемые не могут, однако на специальных занятиях они приобретают навыки чтения с губ.

Параллельно дети изучают так называемую дактилологию — ручную азбуку, в которой то или иное положение пальцев правой руки соответствует определенной букве (например, ладонь с прижатыми друг к другу вытянутыми пальцами обозначает *в*, а если пальцы собраны в кулак — это *а*).

Не исчезает из обихода глухих (ведь после обучения глухонемыми их уже не назовешь) и общение посредством жестов. Эта «поздняя» мимика существенно отличается от примитивных жестов глухонемых, не прошедших специального обучения. Теперь она значительно усложняется, получает своеобразное грамматическое оформление. Окончивший школу глухонемой при помощи дактилических знаков-букв вставляет в язык жестов нужные предлоги, «приписывает» необходимые окончания.

Мимикой пользуются обычно в тех случаях, когда собирается большая аудитория глухих, чтобы «послушать» лекцию или доклад: чтение с губ остается для глухого делом весьма сложным, тем более, когда за мгновеньями, почти неуловимыми речевыми движениями приходится следить со значительного расстояния. Перевод делает слышащий, специально изучавший язык жестов, так называемый мимический переводчик.

В Советском Союзе обучению и воспитанию глухонемых детей уделяется огромное внимание. Глухонемота тяжелый недуг, однако она преодолима. Нужны только старательность ученика и внимание, чуткость, беззаветный труд педагога. Это прекрасно понимают воспитатели специальных детских садов, учителя школ для глухих, медицинские работники — все, кто посвятил себя этому сложному и благородному делу.

Наука, занимающаяся вопросами обучения и воспитания глухонемых, называется сурдопедагогикой (от латинского *surdus* 'глухой').

Безабзацный набор

Читатель Н. В. Кузьмин из Москвы обращает внимание редакции на «одну самочинную реформу». «Я имею в виду, — пишет он, — так называемый безабзацный набор. Многие журналы и книги печатаются уже по этой новой моде («Нива», «Детская литература», «Прометей» и др.). Что такое абзацный отступ? Это знак препинания, обозначающий более длительную паузу, чем точка. Отменять его по своему произволу не имеет права ни одна редакция, ни одна типография».

Абзац (красная строка) — это, действительно, не только технический, типографский прием, но и средство логически целесообразной организации печатного материала.

Прямое назначение абзаца — выделение отдельных периодов текста. Книжная полоса без абзаца затрудняет чтение, не дает возможности читателю передохнуть без риска потерять строку. Сейчас, когда на современного читателя обрушивается масса пе-

чатной литературы, логически оправданное и осмысленное деление текста на абзацы особенно необходимо.

Набор безабзацного отступа, появившийся в некоторых новых изданиях, несет в первую очередь эстетическую нагрузку. Он появился как реакция художников-оформителей книг на неумелый абзацный набор, когда слишком большие пустые пространства на стыках абзацев делают текст некрасивым, «дырявым».

Безабзацный набор следует применять очень осторожно, только в определенных видах литературы. Особенно широко он может быть использован в рекламе.

Небольшой объем текста в рекламных проспектах дает возможность обратить особое внимание на графическую четкость набора, на сохранение прямоугольника полосы.

Собственные имена и правописание

Многих читателей нашего журнала интересует вопрос о правописании имен собственных — личных имен, фамилий, отчеств, географических названий.

В «Правилах русской орфографии и пунктуации» 1956 года есть примечание: «Правила § 4, равно как и все другие, не распространяются на фамилии: они пишутся в соответствии с написаниями в официальных личных документах». Написание собственных имен подчас резко противоречит правилам современной русской орфографии.

Читательница нашего журнала М. Н. Чижова со станции Фирсановка Октябрьской железной дороги спрашивает, как правильно писать фамилии: *Чижова*, *Грачова*, *Сычова* или же *Чижева*, *Грачева*, *Сычева*, имя *Наталья* или *Наталия*?

Если бы мы в написании приведенных фамилий руководствовались действующими орфографическими правилами, то их следовало бы писать с *о*. В § 4 «Правил» говорится: «Если после *ж*, *ч*, *ш*, *щ* под ударением произносится *о*, то буква *о* пишется... в суффиксах... имен прилагательных: *-ов-*, например: *ежовый*, *грошовый*, *парчовый*, *холщовый*...».

Но в написании фамилий надо придерживаться тех форм, которые закрепились в официальных документах. Это же правило относится к орфографическим вариантам имени *Наталья* — *Наталия*. В связи с разнобоем в написании имен и фамилий большая ответственность лежит на работниках загсов, паспортных столов и других учреждений, где выдаются официальные документы. Здесь не все благополучно.

Учительница средней школы № 24 города Коммунарска Луганской области Г. В. Ермоленко задает нам горестный вопрос: «А что делать с фамилиями и именами, которые безжалостно уродуются работниками загсов и паспортных столов? Я преподаю русский язык в школе и за свои 25 лет работы во время выдачи

аттестатов и свидетельств сталкивалась со многими паспортными несуразностями... Например: фамилия *Майоров* пишется через букву *ё*, имя *Нинель* с буквой *е* вместо *и*, украинское женское имя *Оксана* с начальным *А*. Г. В. Ермоленко спрашивает: «Почему школа обязана повторять ошибки работников загса? Как избежать их размножения?» — и пробует дать на эти вопросы ответ: «Логически рассуждая, мне можно ответить: учить лучше и не выпускать из школы безграмотных. С этим согласятся все преподаватели русского языка, но пока существует оценка „3“, из школы может быть выпущен человек, который в 150-ти словах допускает четыре ошибки. И беда, если он, забыв и те правила русской грамматики, которые знал, будет года через два выписывать свидетельства о рождении. Человекам пяти из ста придется носить всю жизнь, как клеймо, фамилию или имя с ошибкой. Хотелось бы, чтобы Редколлегия журнала обсудила этот вопрос. Может быть, есть возможность издать массовым тиражом словарь-справочник русских имен и фамилий».

Словари личных имен уже существуют: «Справочник личных имен народов РСФСР» под редакцией Н. А. Баскакова и др. М., 1965; Н. А. Петровский. Словарь русских личных имен. Около 2600 имен. М., 1966. Желательно, чтобы они стали настольными книгами работников загсов, паспортных столов и других учреждений, в который часто приходится иметь дело с выдачей документов, где впервые фиксируются имена и фамилии людей и где должна быть исключена возможность ошибки. Есть и популярная литература о личных именах, в которой рассказывается об их происхождении. Она названа частично в предисловии к «Словарю» Н. А. Петровского.

● Читатель Н. С. Тимофеев из Анжеро-Судженска спрашивает: «Почему горы *Тянь-Шань*, а фамилия *Семенов-Тянь-Шанский*?».

В последней части фамилии *ь* исчез закономерно (ср. *конь* — *конский*), а в части *Тянь* мягкий знак утрачен ошибочно, возможно, под влиянием более старого написания названия хребта *Тян-Шанский*.

Некоторые теперь разные имена могут восходить к одному источнику. Так, современные русские имена *Георгий*, *Юрий*, *Егор* и устаревшее *Егорий* восходят к одному и тому же греческому имени Γεώργιος, которое буквально значит 'земледелец'. Это же имя у французов произносится *Жорж*, у англичан *Джордж*, у немцев *Георг*, а у венгров *Дьердь*. Изменения слова объясняются тем, что оно проникало в язык в разное время и разными путями. Кстати, так бывает не только с собственными именами, но и с нарицательными.

● Читатель нашего журнала Н. М. Вавилов из Ленинграда обращает внимание на то, что в словах *грамота* и *грамотный* пишут одну букву *м*, а в словах *грамматика* и *грамм* — две, и просит дать консультацию по этому вопросу. (Об этих словах шла речь и в викторине: «Русская речь», № 6, 1967).

По-разному пишутся слова, связанные по происхождению с греческим многозначным словом γραμμα 'линия, черта, буква, цифра, иота, алфавит, грамота, письмо, книга, мера веса и т. д.', потому что слово *грамота* (а также образованное от него на русской почве прилагательное *грамотный*) появилось у нас еще в древнерусскую эпоху и написание оригинала передано неточно. А в словах *грамматика* и *грамм* мы копируем греческую орфографию. Такое стремление к точности проявляется обычно в более поздних заимствованиях.

Другой вопрос Н. С. Тимофеева касается написания английского имени: *Уильям* или *Вильям*? Колебания в написании этого имени связаны с тем, что в английском начальный звук имени William произносится как звук средний между *в* и *у*. В русском литературном языке нет такого звука, но он встречается в говорах, когда слова *лавка*, *девка* произносятся не *лафка*, *дефка*, как в литературном языке, а *лайка*, *дейка* с очень кратким неслоговым *й*. Раньше этот звук в русской транскрипции английских слов передавали буквой *в*, но в последнее время его стали чаще передавать буквой *у*. Следовательно, оба варианта закономерны, но написание *Вильям* является более архаичным. О разных тенденциях в передаче иноязычных слов (преимущественно собственных имен) средствами русского языка и письма говорилось в № 4 нашего журнала за 1967 год в заметке Л. П. Калакуцкой «Все ли безразлична Гекуба?».

• Инженер Л. С. Дановский из Ленинграда считает, что написание имени *Дон Гуан* в маленькой трагедии А. С. Пушкина «Каменный гость» представляет собой «недопустимый пример изменения привычного имени. Ведь имя *Дон Жуан* мало назвать традиционным, оно стало нарицательным и недопустимо его менять, хотя, может быть, это звучание и не так правильно, как новое».

Широко известный образ Дон-Жуана возник в испанской литературе XVII столетия. Имя это по-испански писалось Don Juan, а произносилось Дон-Хуан. Литературный сюжет об этом герое обрабатывался многими европейскими писателями. В Россию он попал через Францию, а по-французски имя Juan читалось с начальным согласным *ж*; отсюда и русская форма этого имени. Кстати, оно представляет собой точное историческое соответствие русскому имени Иван. Русские писатели обычно сохраняли ставшую традиционной форму этого имени — Дон-Жуан.

Пушкин дал своему герою имя более близкое к первоначальному испанскому — Дон Гуан (со щелевым, то есть длительным согласным *г*; литературный язык знает такое *г* только в словах *бга*, *ага!* и *бухгалтер*). Изменять авторское написание имен героев мы не имеем права. К тому же, написание *Гуан* у Пушкина удобно, оно дает возможность сразу же легко отличить героя «Каменного гостя» от героев других произведений на эту тему.

Л. С. Дановский пишет имя Дон-Жуан отдельно. Такое же написание и во втором томе «Краткой литературной энциклопе-

дии» (М., 1964), хотя оно и противоречит рекомендациям «Правил русской орфографии и пунктуации» (§ 79, примечание): «Составные имена с первой частью *дон-* пишутся через дефис только в тех случаях, когда вторая, основная часть имени в русском литературном языке отдельно не употребляется, например: *Дон-Жуан*, *Дон-Кихот*. Но если слово *дон* употребляется в значении 'господин', оно пишется раздельно, например: *дон Педро*, *дон Базилио*». Имя героя «Каменного гостя» должно писаться раздельно, так как вторая его часть *Гуан* в тексте трагедии употребляется и самостоятельно.

Если же имя этого персонажа употребляется в нарицательном смысле, то оно пишется со строчной буквы и без дефиса, слитно: *донжуан*. Без дефиса пишутся и производные от существительного *донжуан* слова: *донжуанский*, *донжуанство*, *донжуанствовать*.

● А. Г. Гецов из Москвы спрашивает: «Почему многие исконные национальные названия городов, рек и т. п., имена, фамилии в передаче на чужом языке звучат иногда совершенно по-иному, хотя возможности этого второго языка позволяют точно передать произношение слова? Неужели дело в том, что кто-то когда-то первым неправильно произнес на своем языке чужеземное слово?!».

Действительно, почему немцы называют столицу Австрии — *Wien* (Вин), русские *Вена*, украинцы *Відень*?

Древнейшие жители этого города кельты называли его *Vindobona*. После ухода кельтов здесь жили племена, в языке которых происходило упрощение группы согласных *nd* в *d* (возможно, финно-угры). Отсюда старое славянское название **Вѣдънь*, которое в украинском языке превратилось в *Відень*. Немцы переделали полученное от славян название в *Wien*. Украинский язык сохранил, таким образом, более древний облик слова, чем немецкий, а в русском названии *Вена* отражена латинизированная немецкая форма. Следовательно, один источник расхождения в звучании одинаковых наименований в разных языках заключается в том, что различна история звуков этих языков.

● Те, кто не знает о причинах, вызывающих неодинаковое звучание одного и того же собственного имени в разных языках, часто говорят об искажении имени. Мнение об искажении иностранных географических названий настолько широко распространено, что встречается иногда и в научной литературе. Так, например, в «Кратком топонимическом словаре» В. А. Никонова (М., 1966), где приведены сведения о происхождении 4000 географических названий разных стран мира, можно встретить сетования по поводу несоответствия русского произношения и написания некоторых названий языку подлинника, а иногда и по поводу искажений. Это касается тех случаев, когда автор затрудняется найти объяснение «искажению».

● Основанный древними греками-колонистами на территории Южной Франции приморский город *Никайя* впоследствии стал называться в латинском языке *Nicae* (Ницэ), а позже французы преобразовали его в *Nice* (Нис) в соответствии с законами развития французской фонетики. Русское название этого древнего средиземноморского города *Ницца* восходит к латинскому языку и является по звучанию более древней формой, чем современное французское *Nice*. Что касается удвоения буквы *ц* в русском наименовании *Ницца*, то это только лишь признак «заграничности» названия. Одним только удвоением согласного в неграмотном написании *копусста* франт-писарь в рассказе А. П. Чехова придал элегантный вид простому слову *капуста*. Русское название *Марсель* также отражает более старое произношение, чем современное французское *Марсей* (Marseille). Следовательно, первоначальный вид названий этих городов искажен сильнее в ходе фонетических преобразований на французской почве, русская форма этих названий более древняя.

● Другой источник разнобоя в произношении и написании собственных имен состоит в том, что с некоторыми названиями русский язык знакомился не непосредственно, а через другие языки, которые их несколько видоизменяли и передавали соседям в таком звуковом облике, который уже расходился с оригиналом. Так обстояло дело, например, с названиями *Париж* и *Рим*, которые попали в славянские языки через германское посредство: в языке французов и итальянцев они произносятся соответственно *Пари* (Paris — *s* конечное не произносится) и *Рома* (Roma). Во французском, итальянском и русском языках эти названия развивались самостоятельно и их звучание со временем разошлось еще сильнее.

Русская форма *Париж* оправдана исторически и в какой-то мере даже более древняя, чем современная французская форма *Пари*, где конечный согласный звук не сохранился в произношении. Замена *s* звуком [ж] отражает пути движения слова в Россию через германцев. В форме *Париж* запечатлены страницы истории, поэтому сетования В. А. Никонова на то, что «привычное русское написание не соответствует ни произношению, ни написанию подлинника» (какого?), и прямой призыв писать и произносить по-русски *Пари* не могут быть признаны справедливыми.

● В отдельных случаях расхождения устраняются: так, грузинская форма названия *Тбилиси* заменила старую форму *Тифлис*, которая долго бытовала в русском языке под влиянием языков, не имевших сочетания согласных в начале слова (возможно, тюркских языков Кавказа). Но исправление названия по образцу оригинала не всегда возможно из-за устойчивости традиции, которую нежелательно менять: ведь эта традиция отражает историю, былые связи народов.

Иногда расхождение в звучании русского и иностранного собственного имени объясняется тем, что имя намеренно заимствует-

ся в архаической форме. Например, вместо французского *Люи* (Луи) употребляется его прототип — латинская форма *Людовик*.

Бывает, что при русской передаче иноязычного имени возникает ошибка, вызванная стремлением осмыслить малознакомое слово. Например, столица Швеции в древнерусских памятниках называлась *Стекольна*. Впоследствии восторжествовала более правильная форма *Стокгольм*. Такие ошибочные передачи, как правило, долго не сохраняются.

Некоторые теоретические вопросы правописания собственных имен получили отражение в специальном сборнике статей «Орфография собственных имен», изданном Институтом русского языка АН СССР в 1965 году.

На письма читателей ответили научные сотрудники Института русского языка АН СССР: Г. А. Золотова, В. А. Ицкович, В. В. Лопатин, В. Фелицына, Б. С. Шварцкопф, научный сотрудник Института славяноведения АН СССР Р. В. Булатова, редакторы издательства «Наука» С. А. Иванов и Т. В. Полякова, преподаватель МГПИ им. В. И. Ленина И. Г. Добродомов.

В № 6 за 1967 год статья «Пусть и корабли строят корабли» написана кандидатом филологических наук В. Н. Сергеевым.